

ПРИЛОЖЕНИЕ
К
ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЕ

Литературная Газета

ФЕВРАЛЬ 1990 г.

ВЕК

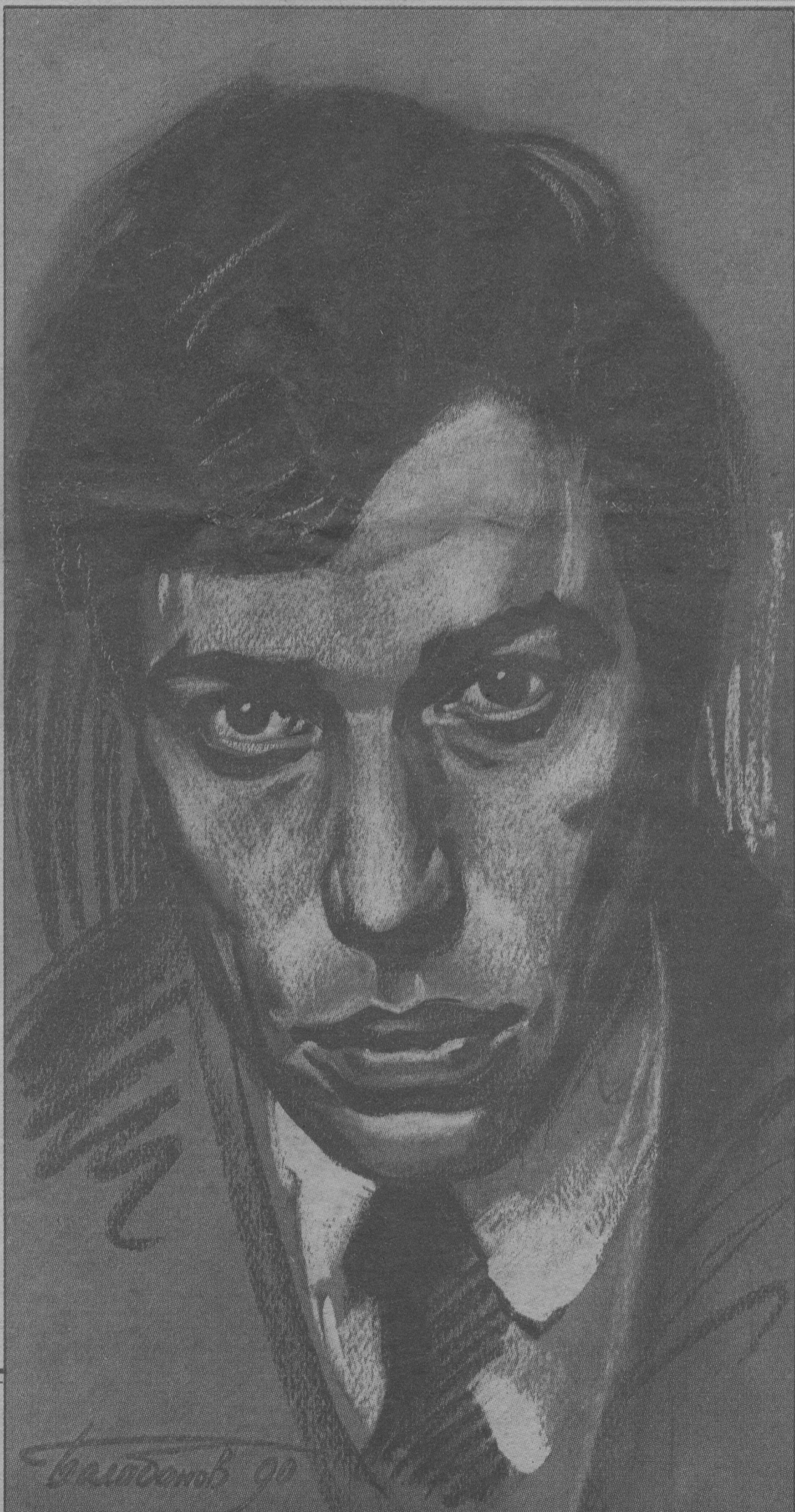
ПАСТЕРНАКА

*Гул затих. Я вышел на подмостки.
Прислонясь к дверному косяку,
Я ловлю в далеком отголоске,
Что случится на моем веку.*

*На меня наставлен сумрак ночи
Тысячью биноклей на оси.
Если только можно, Авва Отче,
Чашу эту мимо пронеси.*

*Я люблю твой замысел упрямый
И играть согласен эту роль.
Но сейчас идет другая драма,
И на этот раз меня уволь.*

*Но продумаю распорядок действий,
И неотвратим конец пути.
Я один, все тонет в фарисействе.
Жизнь прожить — не поле перейти.*



СЛОВО О ПОЭТЕ

Д. С. ЛИХАЧЕВ

Эстафету великих русских мастеров поэтического слова XIX столетия в начале XX века суждено было принять нескольким поэтам, которых можно пересчитать по пальцам. И в их числе Борис Пастернак — один из достойнейших. Благородную традицию всеобщей отзывчивости и созвучия своей лиры чаяниям народов мира продолжили они своим творчеством. И среди них один из благороднейших и мудрых — Борис Пастернак со своей кавказской темой. Он, возможно, больше других проложил путь грузинскому стиху, особенно современ-

Ираклий АБАШИДЗЕ

ному, к сердцам многомиллионных и многоязычных советских читателей, а через них и ко всему миру. Вместе со всей нашей культурой, всей интеллигенцией пережил он тяжелейшие

испытания, выпавшие на их долю. Но каждой своей строчкой Борис Пастернак доказал, что честное, свободное слово нельзя ни победить, ни поставить на колени.

У меня перед глазами памяти всегда стоит великий учитель и наставник, первый переводчик моего стихотворения на русский язык Борис Пастернак. Стоит, как в те уже далекие тридцатые годы, и читает:

*Приходил по ночам
в синеве ледников от Тамары...*

Я не знаю, в какой мере мое восприятие творчества Бориса Леонидовича Пастернака может быть принято другими. Но мое ощущение его поэзии говорит о нем как о «большом ребенке». Детское, «первозрадное» ощущение окружающего мира — не новинка в поэзии. Оно пронизывало собой «озерную школу» в Англии, и в первую очередь поэзию Вордсворта, который выступил даже в одном из своих стихотворений с декларацией своей «детскости».

Что вкладываю я в понятие «детскости» у Пастернака! Прежде всего: восприятие мира, который поэт во всех деталях видит как бы в первый раз. Удивление перед окружающим! Удивление и, если можно так выразиться, «познавательный восторг». Поэтому у него так необычны и так нетрадиционны все его поэтические ассоциации.

Нетрадиционность и одновременно, как это ни парадоксально, детская же приверженность к традиции! Заметили ли вы, как любят дети все, что связано с традициями семьи и окружающей среды! Все праздники, все обычаи, обыкновения, принятый распорядок жизни. Для фольклориста нет сомнений: в детском фольклоре сохраняются наиболее древние представления и формулы.

Все сказанное о традиции объединяется понятием индивидуальности. Пастернак, поэт и прозаик, нес на себе в эпоху безличности тяжелое бремя личности — личности, связанной с традициями русской интеллигенции и одновременно свободной от навязываемых ему (как и всей поэзии) «признаков эпохи».

В «Охранной грамоте» Пастернак писал: «Всем нам являлась традиция, всем обещала свое лицо, по-разному свое обещание сдержала. Все мы стали людьми в той мере, в какой людей любили и имели случай любить».

И вот еще одно следствие его «детскости» и приверженности традиции: любовь к людям. Любовь к людям, постоянно нарастающая в его творчестве. Перечтите его сборник стихов «На ранних поездках», и особенно то стихотворение, которое дало название всему сборнику.

*Сквозь прошлого перипетии
И годы войн и нищеты
Я молча узнавал России
Неповторимые черты.*

*Превозмогая обожанье,
Я наблюдал, боготворя.
Здесь были бабы, слобожане,
Учащиеся, слесаря.*

*В них не было следов холопства,
Которые кладет нужда,
И новости и неудобства
Они несли как господа.*

Мне необходимо сдерживать себя, чтобы не привести полностью это замечательное стихотворение, которое мне хотелось бы бросить в лицо тем людям, которые именно из-за перечисленного Пастернаком не любят России или обвиняют русский народ в холопстве.

Все творчество Пастернака потому так и необычно для «обычного» восприятия поэзии, что он творил, «превозмогая обожанье» мира, всего окружающего, стеснялся этого обожания.

*Мне по душе строптивый порок
Артиста в силе: он отвык
От фраз, и прячется от взоров,
И собственных стыдится книг.*

Почему «стыдится»? Не только потому, что, по его словам, «быть знаменитым некрасиво», но потому, что соединять свое личностное с традиционным, не противопоставляя одно другому, необычайно трудно. Но гениальное потому и гениально, что оно решает неразрешимые задачи, а в данном случае: наивность ребенка с мудростью многоопытного старца, глубоко индивидуальное, свойственное яркой личности, с традиционным, повторяющим в своем творчестве многие и многие темы, мотивы и образы русской литературы.

Пастернак писал: «Присутствие искусства на страницах «Преступления и наказания» потрясает больше, чем преступление Раскольниковова» («Доктор Живаго»).

Поразиться красоте произведений Достоевского. Нет, о Достоевском написано много, почти что обожествляющего его... Но не это.

Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

Пастернак — присутствие Бога в нашей жизни. Присутствие, данное не постулатно, а предметно, через чувственное ощущение Жизни — лучшего, необъяснимого творенья мирозданья.

Дождь дан как присутствие Бога в нем, словый бор как присутствие Бога, Бог дан в деталях, в стрижах, в каплях, в запонках, и наше чувство — это прежде всего в чистом виде Божье присутствие.

Каждая вещь для поэта — Благовецение. Я бы сказал о благовецизме Пастернака. Строфы его полны вещей — вестей от Бога.

Даже инициалы его «Б. П.» говорили о его беспартийности.

Ныне, вглядываясь в прошлое, мы по нанивной шкале мер и весов ищем альтернативу Сталину — Троцкий! Бухарин! Рыков! Увы, это все шахматные фигуры той же доски. Духовной альтернативой тирании стал Пастернак. XX век выбрал это для решения извечного русского противостояния — Поэт и Царь, Власть и Дух, воплотившийся в одиночке.

Я никогда не встречался с Пастернаком, но знал и любил его поэзию. Впервые с творчеством Пастернака познакомился после второй мировой войны. Прочитав небольшой томик его стихов, я понял: это истинная поэзия! К счастью, музыкальность, образность и страстность его творения не потерялись в переводе.

Для меня Пастернак — идеалист в поэзии. У него, на мой взгляд, много общего с Александром Блоком и Афанасием Фетом. Во Франции же «братьев» и «сестер» такого поэта я не вижу.

Эжен ГИЛЬВИК

Вообще в западноевропейской поэзии Пастернаку созвучен, пожалуй, лишь Райнер Мариа Рильке.

У Пастернака особая образность, поэтический строй, ритмика стиха, совер-

шенно иная, не свойственная французской поэзии, душевная вибрация. Он был из тех поэтов, что обозначают собой целую эпоху. И, может быть, не только литературную, но и историческую. Помню, Илья Эренбург рассказывал мне, что однажды у него в доме зазвонил телефон: Сталин! «Товарищ Эренбург, что вы можете сказать о Пастернаке!» — «Это большой поэт, товарищ Сталин». И в трубке зазвучали короткие гудки.

Большой поэт, этии сказано все.

ПАРИЖ, январь 1990 г.

1.



А



Что в мае, когда поездов расписание,
Камышинской веткой читаешь в купе,
Оно грандиозней Святого Писанья
И черных от пыли и бурь канале.

Что только нарвется, разлазвшись,
тормоз

На мирных сельчан
в захолустном вине,
С матрацев глядят,
не моя ли платформа,
И солнце, садясь, соболезняет мне.

И в третий плеснув, уплывает звоночек
Сплошным извиненьем:

жалю, не здесь.
Под шторку несет обгорающей ночью
И рушится степь
со ступенек к звезде.

Мигая, моргая, но спят где-то сладко,
И фата-морганой любимая спит
Тем часом, как сердце,
плеча по площадкам,
Вагонными дверцами сыплет в степи.

Сестра моя —
жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем
обо всех.
Но люди в брелоках
высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно,
бесспорно смешон твой резон,
Что в грёзу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт.

*Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.*

Мне хочется высказать несколько мыслей в связи с творчеством и жизнью Бориса Пастернака, на которые наталкивает нынешнее время, сегодняшний день.

Для себя я сформулировал тему своей заметки так: «Уроки Пастернака», но что как раз меня смущает, так это неумение и нежелание Пастернака давать уроки, учить, поучать, навязывать свои представления о должном — недаром он любил Чехова.

Дидактики, глаголы в повелительном наклонении нет ни в его прозе, ни в его стихах (за исключением двух-трех стихотворений, обращенных, кстати сказать, к самому себе: «Не спи, не спи, художник...», «Не надо заводить архива...»).

Сегодня, когда дидактика в таком ходу, когда малограмотные писатели поучают взрослых людей, «пасут народы», думаю, что Пастернак если чему-нибудь и учит, то именно отказу от поучений: поэзия и дидактика несовместимы, поэзия и морализаторство так же несоединимы, как поэзия и пошлость.

Я сказал, что хочу назвать свои заметки «Уроки Пастернака». Беру свои слова назад. Не уроки, нет, «Пример Пастернака» — так будет точнее и лучше.

«Как я себя чувствую? Да несчастливейше, по той простой причине, что чувство счастья должно сопровождать мои усилия для того, чтобы удавалось то, что я задумал, это неустранимое условие».

Речь идет, конечно, не об эгоистическом счастье самовлюбленного человека на фоне народных бедствий — не помню, кто, критик или поэт (если поэт, то тем хуже для него), недавно пытался нам внушить именно такое объяснение, — речь идет о творческом состоянии. И тут мне хотелось бы сказать, что не только поэт, но и любой человек труда знает это счастье, несмотря на всю трагедию жизни.

О чем говорить! По сравнению с Пастернаком мы живем в сказочно благоприятных условиях, не стоит об этом забывать посреди наших неприятностей и опасений, и грех уныния — тяжкий грех.

«Сестра моя — жизнь» — счастливая книга.

*Это — круто налившийся свист,
Это — щелканье сдавленных льдинок,
Это — ночь, леденящая лист,
Это — двух соловьев поединок.*

Для человека, любящего поэзию, «Сестра моя — жизнь» — картотека счастья, справочник земных щедрот, приходящих к нам в небывалом разнообразии стихотворных ритмов. Пастернак обновил мелодику русского стиха; ритмический рисунок его стихов — открытие, доставляющее нам почти физическое удовольствие, сопоставимое с речным купанием, с лежанием на солнце.

Человек, обладающий поэтическим слухом (поэтический слух существует так же, как музыкальный), испытывает это удовольствие, проборматывая про себя такие, например, стихи:

*О, не вовремя ночь кадит маневрами
Паровозов: в дождь каждый лист
Рвется в степь, как те.
Окна сцены мне делают.*

*Бесцельно ведь!
Рвется с петель дверь, целовав
Лед ее локтей.*

То же относится и к книге «Темы и вариации», ко всему лучшему, что сделано Пастернаком. И что, как не чувство счастья, дарит нам стихотворение «Август», а ведь оно написано в 1953 году и речь в нем идет о смерти:

*Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.*

Прощайте, годы безвременницы!

Владимир Соловьев, которого я сейчас читаю, объясняет отказ Платона от самоубийства после смерти своего учителя Сократа тем, что сущность сократовского учения состояла как раз «в том, что независимо ни от каких фактов и положений есть безусловный, по существу добрый смысл бытия; а признанием этого прямо исключается такой акт отчаяния, как самоубийство», то есть самоубийство было бы изменой Сократу, его учению.

Поэзия знает, во всяком случае Пастернак знал, этот «по существу добрый смысл бытия». Поэзия возвращает нас к нему, и в этом ее сила. Добрый смысл бытия — это признание существования в мире Правды, ее неотменимости вопреки всем ухищрениям зла.

Со всем этим связано понимание необходимости для художника жизни в тени, вне прожекторов и шумихи: «Жизни вне тайны и незаметности, жизни в зеркальном блеске выставочной витрины я не мыслю».

Здесь сказано о том творческом «покое и воле», которые и в пушкинском

представлении были синонимом счастья, обретаемом в «обители дальней трудов и чистых нег». Мы знаем, чего стоила Пушкину близость к власти, — стоила жизни. Наша история складывалась так, что и в XX веке в той империи, которая у нас опять сложилась к концу 20-х годов, этот мотив отношения поэта и власти, поэта и царя, только куда более страшного, чем Николай, приобрел, как говорится, новое, неслыханное звучание.

Мы знаем, сколько художников было втянуто в эти гибельные отношения: и Горький, и Маяковский, и Булгаков, и Зощенко, и даже Мандельштам, каждый по-своему затанцован стальными зубцами государственной машины в смертельный барабан.

Пастернак не избежал ни общей участи, ни ложных шагов, но нашел в себе силы выпутаться из паутины, осудить в себе что-то, осмыслить случившееся, уйти со сцены, погрузиться в тень, обречь себя на прижизненное забвение, на каторжный труд переводчика.

Почему об этом следует говорить? Потому что соблазн сближения с властью работал и разрастал поэт, на наших глазах и в другие, куда более легкие времена. Только жизнь частного человека дает возможность поэту сохранить независимость и достоинство, осуществить свою задачу: «внести гар-

монию во внешний мир» — так сформулировал ее Блок.

Для этого следует многим пожертвовать, а главное — преодолеть тщеславие, без которого, наверное, нет художника, во всяком случае — в начале пути; для этого от Пастернака требовалось проявить мужество, силу духа и просто человеческую смелость.

Пример этой замечательной смелости у нас перед глазами — в отсутствии его имени под письмами, одобряющими казни.

«Не страдай за меня, пожалуйста, не думай, что я терплю несправедливость, что я недооценен. Удивительно, как я уцелел за те страшные годы. Уму непостижимо, что я себе позволяю!» (январь 1954 года).

Он не только не ставил подписи под страшными коллективными письмами, но написал опальному Бухарину, переписываясь с поднадзорными и ссылкой, помогал Ахматовой и т. д. И при этом сам был, как «волк в загоне», затравлен и обложен.

«Удивительно, как я уцелел за те страшные годы». Как же все-таки он уцелел? Особенно в 30-е, будучи тогда вовлечен в опасную орбиту, приближен и замечен? Думаю, что спаслись ему помогло его неординарное поведение и, может быть, та почти «социальная» роль высокого поэта, которую он на

себя взял. Спасались кто как мог: Олеша, например, изображал шута, ресторанный завсегдатай — и маска приросла к нему. Пастернак спасся по-своему, но тут надо сказать, что эта роль, если такое поведение можно назвать ролью, необычайно ему шла, так как он и в самом деле вел разговор «о жизни и смерти», писал о вечном, хотя и «у времени в плену». Была ли здесь доля расчета? Наверное, была. Да, он знал, как произвести впечатление на Сталина, в стихах, разумеется, ничего не понимавшего. Но и Пушкин рассчитывал свое поведение, писал Бенкендорфу, одбумывал разговор с царем.

Пастернак сохранил себе жизнь не только потому, что нашел удачный «образ», но и потому, что входил в этот образ ему было чрезвычайно просто: он и в самом деле вел разговор на высоте, как ведет его ливень, он и в самом деле летал такими «воздушными путями», на которые не поднимались другие, он и в самом деле бубнил, гудел, пел — не притворялся!

И благородство, и благожелательность были в его натуре, так же как артистизм, он легко сходилась с людьми, в нем самом было то очарование, которое нас так радует в его стихах и прозе.

Он родился в рубашке. Не только огромный талант, но и влияние семьи, интеллигентной среды трудно переоценить. С детства, кроме поэзии, над ним склонились музыка и живопись.

По поводу эпизода, рассказанного им в автобиографии, как его четырехлетним ребенком вынесли заплаканную ночью к гостям и он увидел старика и это был Лев Толстой, Ахматова с завистью говорила: «Боренька знал, когда проснуться».

Ему жилось нелегко, но он не был репрессирован и не попал под Постановление, а Нобелевская премия и весь ужасный эпизод с проработкой последних лет хотя и свел его в могилу, но принес ему мировую славу.

Мне кажется, ему продолжает везти и сегодня. В каком смысле? А в том, что этот великий русский поэт родился в еврейской семье, — можно представить, как сейчас его, будь он русским, с его обожанием России, русской культуры, русской природы, людей, языка подняли бы на щит наши «патриоты» и стали бы кадить, как сказано у Баратынского, «чтобы живых задеть кадилом». Он счастливо избежал этой участи.

(Замечу в скобках, что повезло и Маяковскому, но обратным образом: будь он евреем, его сделали бы сегодня ответственным за всю глупость Лефа, за все, чем жила послереволюционная эпоха, за приказы по «армии искусств», за оду чекистам, назвали бы антирусским поэтом, масоном...)

Здесь нет места и возможности сказать о многом, в том числе и о самом главном — его стихе, влетевшем в нашу поэзию, как шаровая молния, устроенном по принципу «чем случайней, тем вернее». Пастернак и впрямь не поэт, а явление природы, но лучше всех об этом сказала Цветаева.

Еще можно было бы поговорить о таких, уже профессиональных, вещах, как проблема «сложности» и «неслыханной простоты» в поэзии. Есть поэты, идущие от простого к сложному (Баратынский, Мандельштам), путь Пастернака (как и Заболоцкого) был обратным и совпал с официальной установкой. Конечно, у Пастернака были на то и «личные основания», в частности влияние Толстого, впитанное еще в детстве, едва ли не в обход сознания.

На этом пути были у него провалы (стихи 40-х годов), но и здесь он сумел вырваться к оригинальному стиху 50-х, к новому манере, может быть, не столь захватывающей, как ранняя, но все равно прекрасной.

Христианская идея помогла ему совершить этот переход к новому поэтическому смыслу, но она же несколько сковывала творческую фантазию, так как мысль появлялась отчасти уже готовой, полученной до стиха, в какой-то степени была иллюстрацией к евангельским сюжетам, а не той «случайной», возникающей «моментально навек», как в его молодости.

Это свое мнение я никому не навязываю, любя и раннего, и позднего Пастернака, но раннего, может быть, чуть больше.

И последнее. Для людей моего поколения слово «Пастернак» было паролем, по которому мы отличали своих от чужих: так было в конце 50-х, когда он погибал; а для нас, тогда столь юных, любовь к его поэзии была не просто свидетельством порядочности. Человек, не способный ощутить прелесть его стихов, становился чуждым духовно, с ним «не о чем было говорить».

Александр КУШНЕР

Пример Пастернака



Мемуары

Впервые в издательстве «Советский писатель» выйдет книга «Воспоминания о Борисе Пастернаке». Составление, подготовка текста и комментарии

Е. В. Пастернак, М. И. Фейнберг.

Ниже мы публикуем фрагменты этой книги.

Александр ПАСТЕРНАК

<...> Семнадцатое октября произошло Высочайшим Манифестом. Чуждота его заключалась в сплошном, от начала до конца, противоречии: трафаретных и избитых слов «Мы, Николай Второй», царь такой-то и т. д. и т. п., и завершавших «на подлинном Е. И. В. рукой начертано» — и всех тех слов света и надежды, если их прочесть во всей серьезности и точности их значений, которыми было полно содержание манифеста.

И чтобы ни у кого не было и не оставалось никаких сомнений в истинном значении и смысле манифеста, на следующий же день, 18 октября, то есть через каких-нибудь не полных даже 24-х часов текущей его жизни, на митинге, посвященном этому же манифесту, был убит студент технического училища, в такой же тужурке с наплечниками, Бауман. Его хоронили вся Москва, 20 октября.

Эти похороны мне запомнились, как врезанные в память. Мы, вся наша семья, кроме девочек, стояли среди других из училища, на балконе, между вздымающихся вверх колонн, как какие-то статисты какой-то мизансцены — о царе Эдипе или из истории амфиного барского дома в имени. Мы стояли черными неподвижными статистами и зрителями одновременно, потому что перед нами, под нами проходила, в течение многих часов, однообразная черная широкая лента шеренг мерно шагающих, молчащих и поникших людей, одна за другой, каждая по десять, кажется, человек, одна за другой, одинаковых и повторных, во всю ширину Мясницкой, мимо нас, к Лубянской площади. Всего грознее было, когда люди, проходящие внизу, шли в полном молчании. Тогда это становилось так тяжело, что хотелось громко кричать. Но тут тишина прерывалась пением вечной памяти или тогдашнего гимна прощания, гимна времени — «Вы жертвою пали...». И снова, замолкнув, ритмично и тихо шли и шли — шеренга за шеренгой, много шеренг и много часов.

Более всего запомнилась, однако, сама голова шествия. Как обычно при всяких похоронах, черной ленте, змеящейся по улице, предшествовал катафалк. Но гроб несли люди, на плечах, и это было трагично, как сама смерть. Перед катафалком плелась одноколка, наполненная лапами еловых ветвей, редко кидаемых под ноги шествию. И это было обычно; не как всегда и необычным было, что шествию, катафалку и одноколке с запахом хвои предшествовала не икона на руках, а нечто новое и торжественно возвышенное — шел в черном человек, с большой пальмовой ветвью в руке. Он махал этой ветвью в такт своего и всей змеи шата, как дирижер или как регент хора, задавая тон и смысл всему, что шло, шеренгой за шеренгой, следом за ним. Я никогда более не видел ничего, что могло бы быть подобным этому шествию. Процессия шла долго, людей было бесконечно много, к ней все более и более приливалось по пути, и каждый считал долгом своим примкнуть к ней и с ней слить свое участие. Порядок был идеальным по серьезности и самой трагичности события. Все, что встречалось, и все, что встречало, — молча и сурово отстранялось от пути, пока процессия слитно и мерно шла к кладбищу, возглавляемая пробом на плечах шестерых. Также тихо и сурово было, так говорили, на самом кладбище. Тем сильнее разразилась гроза, затихавшая при проходе процессии — туда. Обратный путь был ознаменован другим. Люди — уставшие, разбредаясь отдельными кучками, ручейками, и потому уже не сильные — падали в засады, в мешки, под обстрелы, под нагайки, а шедшие мимо Манежа — под настоящую бойню «охотничьих» и «черной сотни», которым на подмогу пришли дворники, драгуны, жандармы и полицейские. Весь этот «оплот» паризма, побоявшийся показать себя процессии, расползся, когда обратный путь процессии перестал их пугать своей сплошной силой.

Тут — говорили потом — храбрость черносотенной своры подонков и их патронов, поддержанная винтовками, шашками и нагайками, была «на высоте». Разгон безоружных людей указывал, конечно, на силу параграфов манифеста, относящихся к свободам — слова, личности и совести каждого. Это надо было, естественно, понимать как свободу действия «союза русского народа» и «черной сотни», кои, прикрытые иконами, хоругвями и царскими портретами, находили себе охрану и содействие в оружии городских и жандармов. Только последним и были сильны эти, действующие как гиены, «представители русского народа»; они могли безнаказанно бить стекла магазинов, бесчинствовать, избивать встречных, нападать ватагой на беззащитных. Что ни говоришь, но встречи с обществом гиен — куда страшнее, чем столкновение со львом — говорят аборигены.

<...> Октябрь проходил, наступил ноябрь, и дни проходили под знаком все растущих и крепнущих сил революции. Уже почти в открытую шли разговоры и приготовления к переходу от стачек к вооруженной борьбе с царизмом и самодержавием. Восстание на «Очакове», его героический бой с крепостными батареями, лейтенант Шмидт, гибель «Очакова», арест Шмидта, карательные экспедиции Мейлер-Закомельского, новые всеобщие стачки, вооружение народа — все, калейдоскопически быстро вертеться, наполняло дни, предшествовавшие девятому валу, — его все ждали, одни с надеждами, с желанием успеха, с нетерпением, другие — в страхе, с затаившейся злобой, с опасениями...

Но его все оттягивали, до полного и верного подъема сил и накала...

<...> Как всегда в такие моменты волнений, страха и беспомощности, крайнего напряжения нервов, общей неясности ситуации — любое, самое незначительное отклонение от общепринятой нормы воспринимается как, по крайней мере, наказание божие. Вся жизнь нашей семьи, как общества троплодитов в ледниковый период, сосредоточивалась у кровати больной, у стола, на котором стояла и горела неугасимая большая керосиновая лампа «Молния» — кое-как обогревающая нас всех. Но — где же Борис? Куда он исчез, не сказавшись никому и не спросясь, в то время как — это всем известно — на улицах было крайне неспокойно, и то тот, то другой, с нашего же двора выходявший на улицу, попадал либо под обстрел,

либо под копыта драгун, либо — в лучшем случае — под огневой удар нагайки — с оттяжкой! — казака.

Но Борис исчез. Он пропал долго, и мне самому стало уже не по себе. Ему было всего пятнадцать лет, еще мальчик — а характер у него был, слава те господа, что у взрослого! Переубедить его — иной раз было немудрено. Куда он мог бежать? Среди стонов — Лиды в бреду, мамы в полубомрачном состоянии и отца — нервически, как черная пантера, шагавшего от двери к окну, от окна к двери, делая вид, что его ничто не смущает, что все в порядке — он все же подошел ко мне и тихо, будто шепотом и на ухо — прошестел — «я иду его искать» — и пошел дальше мерять комнату своими большими шагами и опять, пройдя мимо, как корабль мимо катера — тем же шелестом — «присмотри за мамой» — и опять — к двери. Но тут, к общему нашему счастью и сушей радости, вдруг знакомо хлопнула входная дверь и появился в створе комнатной — сам Борис, но — в каком виде! Фуражка была смята, шинель полурасстегнута, одна пуговица висела на треугольнике вырванного сукна, хлястик болтался на одной пуговице — а Боря сиял, уже одним этим выделив себя из всей группы вокруг лампы. Из его, пока еще бесовских рассказов, более восхитительных, постепенно уяснилось, что он, выйдя на Мясницкую и пройдя несколько вниз к Лубянке, действительно, столкнулся с бежавшей от Лубянки небольшой группой прохожих, в ней были и женщины, подхватившие в ужасе и Бориса. Они бежали, по-видимому, с самого Фурасовского, от патруля драгун, явно издевавшихся над ними: они их гнали, как стадо скота, на неполной рыси, не давая, однако, опомниться. Но тут, у Банковского, где с ними столкнулся Борис, их погнали уже не шутя, и нагайки были пущены в полный ход. Особенно расправились они с толпой как раз у решетки Почтамтского двора, куда тщетно пытались вдаться прохожие. Боря был кем-то прижат к решетке, и этот кто-то принял на себя всю порцию нагайки, под себя поджимая рвущегося в бой Бориса. Все же и ему, как он сказал, изрядно досталось — по фуражке, к счастью, не слетевшей с головы, и по плечам. Он считал нужным испытать и это — как искуса, как сопричастие с теми, кому в те дни не только так попадало. Тем временем драгуны ускакали, оставив кое-кого лежащими на мостовой. Тут Бору кто-то увидел из наших и насильно увел во двор.<...>



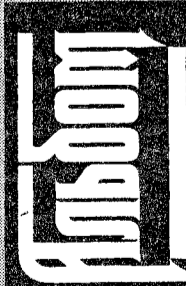
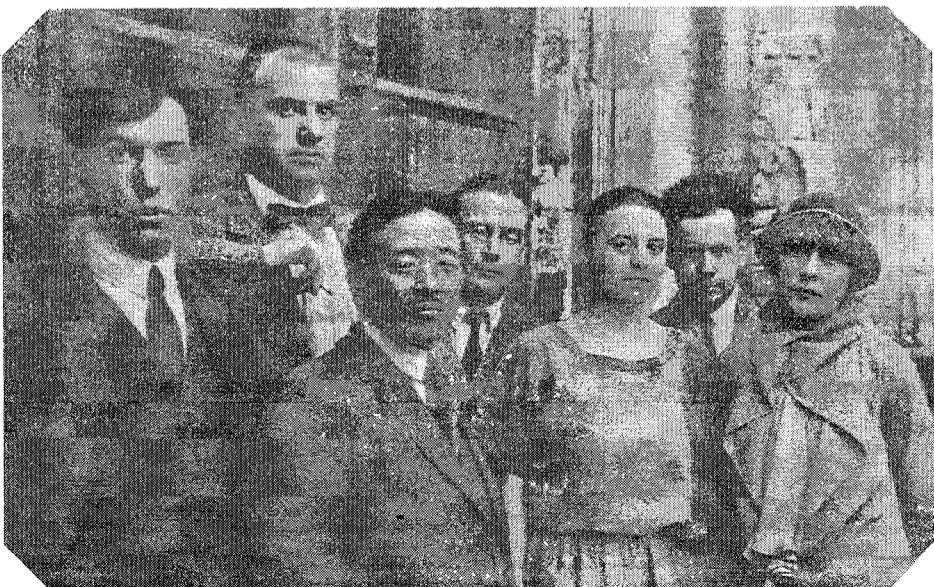
У гроба В. Маяковского. Апрель 1930 г.



А. Ахматова и Б. Пастернак. Москва. Апрель 1946 г.



А. Мальро, В. Мейерхольд, Б. Пастернак. 1934 г.



Б. Пастернак, В. Маяковский, Тамизи Найто, А. Вознесенский, О. Третьякова, С. Эйзенштейн, Л. Брик. 1924 г.

ПИСАТЬ о любви и совместной жизни моих родителей — значит рассказывать о трагедии двух одаренных художников в условиях немилосердного быта и распада форм духовной жизни 20-х годов.

Наша семья существовала без малого десять лет, с конца 1921 и до весны 1931 года. О том, какое впечатление производил отец, писали и пишут многие, — вот какой в 1923 году впервые увидела и запомнила маму Елизавета Борисовна Черняк, дружившая с Пастернаком до самой его смерти: «Что мне сказать о Жене? Гордое лицо с довольно крупными, смелыми чертами, тонкий нос со своеобразным вырезом ноздрей, огромный открытый, умный лоб. Женя одна из самых умных, тонких и обаятельных женщин, которых мне пришлось встретить».

Главным в характере Евгении Владимировны Пастернак было стремление к самостоятельности в искусстве и вера в свои силы. Она была очень способна в живописи, владела сильным рисунком и всегда помнила, что призвана стать профессиональным художником, сказать свое слово. Она горячо любила мужа, но не хотела во имя этой любви жертвовать своей дорогой и даром художника, посвятив свою жизнь интересам мужа. Вместо того чтобы стать ему жизненной опорой, она по-женски искала опоры в нем, и он был этой опорой.

В один из обычных дней нашей се-



В. Л. Пастернак с Евгенией Владимировной и сыном Женей, 1924 г.

ми, оставшимися после отъезда отца. Она пришла на Волконку и набрала в фартук недовыжатых тюбиков с красками. Он стал читать ей вслух свой роман о Жене Люверс и загадывал на книге, будет ли она его женой. Как-то его застал в гостях у сестры приехавший из Петрограда брат Женя и, испуганный странным видом Жениного поклонника, читавшего ей непонятные стихи, рассказал родителям. Женю срочно вызвали в Петроград. Вслед за ней полетели письма:

«Среда 22 декабря 1921.

Женичка, я из твоего отсутствия не создам культа, мне кажется, что я не думаю о тебе, сегодня первый «спокойный» день у меня за последний месяц, — но — весь этот день у меня, со вчерашнего, — безостановочно колеблющееся сердцебиение, точно эти пульсации имитируют что-то твое, дорогое и тихое, может быть, ту золотую, рыбковую уклончивость, с которой начинаешь ты: «Ах попалась...» Такова и погода, таковы и встречи. То есть я без шума и без драматизма, звуковым и душевным образом, полон и болен тобой...»

«23 декабря 1921... Женичка, душа и радость моя и мое будущее, Женичка, скажи мне что-нибудь, чтобы я не помещался от быстроты, внезапно меня задевающих и срывающих с места. Женичка, мир так переменялся с тех дней, которые когда-то не жились на страницах наших учебников, когда некоторых из нас снимали — куколкой с куклой на руках! И не попада-

РАССКАЗ О ХУДОЖНИЦЕ ЕВГЕНИИ ПАСТЕРНАК

мейной жизни, сидя у стола в углу единственной, хоть и большой, комнаты, где спали, ели, играли на рояле, ставили самовар, писали, рисовали, растили сына, принимали гостей и литературных посетителей, отец надписал маме только что полученный им авторский экземпляр книги «Рассказы»:

«Золотой девочке, обожаемой, моей. Чтобы не умничала, не воображала, не судила. Купалась, улыбалась, восхищалась, писала красками и рисовала лучше всех, и делила жизнь без всплеск преходящей старости (озлобления), всегда молодая, какой я ее узнал, какую знал и какой люблю и жду от Свияжковых в это мгновение, в два часа десять минут пополудни тридцать первого числа марта месяца 1925 года. Солнце, мальчик спит, она пишет натурщицу*: у нас денег на неделю, я начинаю 2-ю главу Спекторского. Дай бог всегда так. Боря.»

* Почему-то мне кажется, что сегодня особенно радостно и удачно пишет».

Оба были еще молоды, ярко помнили обстоятельства своего знакомства и первой влюбленности. Тогда, в 1921 году, Евгения Владимировна Лурье училась во ВХУТЕМАСе у Д. П. Штеренберга и П. П. Кончаловского. Ее родители и старшие сестры жили в Петрограде, иногда к ней приезжал брат и, чем мог, помогал в ее трудном полугодном существовании.

Мои родители познакомил Михаил Львович Штих, со старшим братом которого Александром отец дружил с детства. М. Л. Штих вспоминал, как бывал у Жени в ее комнате в большом доме на Рождественском бульваре: «Подолгу говорили о жизни, об искусстве, я читал ей стихи, которые помнил в великом множестве, — Блока, Ахматову и, конечно, Пастернака. Ей очень хотелось познакомиться с Борей, но их посещения все как-то не совпадали по времени. И однажды, когда мы с ней были по какому-то делу на Никитской, я сообразил, что в соседнем переулке, он, кажется, тогда назывался Георгиевским, живет Боря. И мы решили наугад, экспромтом заглянуть к нему. Он был дома, был очень приветлив, мы долго и хорошо говорили с ним. Он пригласил еще заходить. И через некоторое время мы пришли опять. На этот раз я ушел раньше Жени, и она с Борей проводила меня до трамвая. И я как-то машинально попрощался с ними сразу двумя руками и вложил руку Жени в Борину. И Боря прогудел: «Как это у тебя хорошо получилось».

Как-то встретились на улице. Она вспоминала, как поразили ее его огромные и нескладные, разъезжающиеся по грязи галоши. («Ну и калоши. Точно с людоеда», — писал он потом в «Спекторском»). Он сказал ей, чтобы она пришла к нему за краска-

Т
Т
Т
ТЫ ЖИВА,
ТЫ ВО МНЕ,
ТЫ В ГРУДИ...

Годами когда-нибудь в зале концертной
Мне Брамса сыграют, — тоской изойду.
Я вздрогну, я вспомню союз шестисерды,
Прогулки, купанье и клумбу в саду.

Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлобной улыбкой, улыбкой вздох,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб.

Мне Брамса сыграют, — я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.

Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы,
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.

Мне Брамса сыграют, — я сдамся, я вспомню
Упрямую заросль, и кровлю, и вход,
Балкон полутемный и комнат питомник,
Улыбку, и облик, и брови, и рот.

И сразу же буду слезами увлажен
И вымокну раньше, чем выплещусь я.
Горячая давность ударит из скважин,
Околицы, лица, друзья и семья.

И станут кружком на лужке интермеццо,
Руками, как дерево, песнь охватив,
Как тени, вертеться четыре семейства
Под чистый, как детство, немецкий мотив.

1931

лись тогда эти птички, а щебет их срисовывал ветром по лазури уже нарисованные весною в полдень побегов распускавшихся лип, и журчанье этой рисовальной резвости ручьями лилось через окошко в некоторые дневники и ручьями — под карандаш, срисовывающий маму с тихой фотографин на тихую бумагу...»

В письме упоминается мамина детская фотография с куклой, оставленная отцу перед отъездом. И другая подробность: рисование ею портрета своей матери, с которой она была связана глубокой и нежной любовью.

Вслед за письмами Пастернак приехал в Петроград и сам.

В периоды грустно складывавшихся обстоятельств их дальнейшей жизни отец часто возвращался мыслью к первому времени их знакомства, ища опоры в этих воспоминаниях: «В разлуке я ее постоянно вижу такой, какою она была, пока нас не оформило браком, то есть пока я не узнал ее родни, а она — моей. Тогда то, чем был полон до того воздух и для чего мне не приходилось слушать себя и запрашивать, потому что это признанье двигалось и жило рядом со мной в ней, как в изображеньи, ушло в глубокую глубину способности, способности ласкать или не любить. Душевное значение рассталось со своими повседневными играющими формами. Стало нужно его воплотить и осуществлять».

О, как она была смела,
Когда едва из-под крыла
Любимой матери, шутя,
Свой детский смех мне отдала,
Без прекословий и помах
Свой детский мир и детский смех,
Обид не знавшее дитя,
Свои заботы и дела.

В августе 1922 года молодожены поехали в Берлин. Они ехали на год или больше, работать. Были планы поехать учиться живописи в Париж, сохранилось рекомендательное письмо П. П. Кончаловского Везли мамыны работы, художественные материалы, книги, которые она купила отцу в подарок: полные собрания Пушкина, Жуковского, Диккенса в переводах Иринарха Введенского. Их отплытию посвящено стихотворение «Слышен лепет соли каплюющей...», жизни в пансионе у моря вблизи Штеттина — стихотворение «Перелет».

В Берлине мамá начала работать. Бабушка и дедушка полюбили ее. Л. О. Пастернаку нравились ее работы, чувство цвета, умение уловить и передать натуру. Разумеется, они спорили о новом искусстве, его представителях и преподавании. Сохранился писанный мамой интерьер берлинской квартиры, два портрета отца, читающего Диккенса в зимнем уютном берлинском пансионе. Нищета послевоенной Германии тяготила

маму больше, чем привычная московская. Ехать в Париж оказалось не по средствам. Она стала рваться домой. Несмотря на то что после трудного перерыва отец тоже стал работать и ему хотелось пожить для этого в Марбурге, в конце марта 1923 года они вернулись. Казалось, что он расстанется с родителями ненадолго, но случилось иначе: это было их последним свиданием.

В сентябре 1923 года родился я, и маме пришлось прервать занятия в институте. Домашние заботы тяготили ее, работать удавалось редко и с трудом, что становилось постоянной причиной обид и нервозности. Для отца это тоже были годы тяжелого творческого кризиса. Лирическая поэзия лишилась общественного и издательского интереса. Денег не хватало. Тяжелое время сознательного преодоления лирического мировосприятия и перехода к большой стихотворной форме отразилось во вступлении к «Спекторскому»:

*Я бедствовал. У нас родился сын.
Робчества пришло
на время бросить.
Свой возраст
взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.*

В работе над революционными поэмами Пастернаку помогала вдохновенная переписка с Мариной Цветаевой. Накануне эпистолярного романа был нестерпим для мамы. Отец старался объяснить: «Как рассказать мне тебе, что моя дружба с Цветаевой один мир, большой и необходимый, моя жизнь с тобой другой, еще больший и необходимый уже по величине своей, и я бы просто даже не поставил их рядом, если бы не третий, по близости которого у них появляется одно сходное качество — я говорю об этих мирах во мне самом и о том, что с ними во мне делается. Друг друга эти миры содрогаться не приходится... О чем твержу я тебе все это время. Чтоб не верна была ты мне, а верила в меня и мне верила. Это одухотворяет, а первое мертвит. А ты от меня требуешь обратного. Начал я это письмо почти что плача. Да ведь и доведет до слез ужасное сознание того, что в твоём лице дано мне и что ты с лицом и дареньем делаешь. Точно вас две. Разве неправда?»

Тяжелые материальные обстоятельства отражались на маминном здоровье. Боялись возобновления перенесенного в юности туберкулеза. С осени 1925 года мама продолжила занятия в институте. На лето отец послал нас в Германию, а сам остался дописывать «Лейтенанта Шмидта». Два

летних месяца 1926 года мы провели у бабушки с дедушкой. Точнее, с ними в Мюнхене оставался я, маму устроили в дом отдыха неподалеку. Она поздоровела и окрепла. Мы радостно ехали в Москву. Отец выехал нам навстречу в Можайск, сел в наш вагон, и это было таким счастьем и праздником, что, проезжая по тому же пути, я всегда вспоминаю, как мы стояли у опущенного окна в коридоре вагона и впервые, как взрослые, разговаривали друг с другом.

Мамина работа над дипломом требовала мастерской или отдельной комнаты для занятий отца. Отец в отчаянии просил о помощи — в анкете, рассылавшейся Всероссийским союзом писателей, он писал:

«Жилищные условия очень тяжелые. Старая отцовская казенная квартира переуплотнена до крайности, 20 человек (6 семейств), постоянно живущих. К этому надо добавить частые посещения родных и знакомых по 6-ти самостоятельным магистралям... Отовсюду обложен звуками, сосредоточиться удается лишь временами в результате крайнего, сублимированного отчаяния, похожего на самозабвенье.

Настоятельно нуждаюсь в перемене квартиры... Жена — художница, оканчивает в нынешнем году ВХУТЕМАС и будет нуждаться в рабочей комнате... Материальные затраты, с которыми могут быть сопряжены высказанные минимальные пожелания, думаю, легко покрою и осилю, переместясь в более сносные для работы условия...»

Резолюция правления гласила: «Отказать».

Мама с трудом кончила институт. Она была измучена, и у нее открылся туберкулез. Пастернак просил Горького о разрешении длительной поездки за границу: «...До этой зимы у меня было положено, что как бы ни тянуло меня на запад, я никуда не двинусь, пока начатого не кончу. Я соблазнял себя этим, как обещанной наградой, и только тем и держался. Но теперь я чувствую, — оболгать себя нечем. Ничего этого не будет, я переоценил свою выдержку, а м. б. и свои силы. Ничего стоящего я не сделаю, никакие отсрочки не помогут. Что-то оборвалось внутри, и не знаю, когда; но почувствовал я это недавно. Я решил не откладывать. Может быть поездка поправит меня, если это еще не полный душевный конец. Я произвел кое-какие попытки и на первых же шагах убедился, что без Вашего заступничества разрешенья на выезд мне не получить. Помогите мне, пожалуйста, — вот моя просьба...»

Горький отказал.

Летом мы жили в Ирпене под Киевом, куда поехали по инициативе новых друзей Асмусов и Нейгаузов. Мама много работала в это лето, рисовала портреты, самозабвенно писала старый широковетвистый дуб, который рос в саду нашего большого дачного дома. Во время работы курила, что очень волновало отца. Вспоминая это последнее счастливое лето с нами, он писал:

*Мне Брамса сыграют, —
я вздрогну, я сдамся,
Я вспомню покупку припасов и круп,
Ступеньки террасы
и комнат убранство,
И брата, и сына, и клумбу, и дуб.*

*Художница пачкала красками траву,
Роняла палитру, совала в халат
Набор рисовальный и пачки отравы.
Что «Басмой» зовутся и астму сулят.*

Интермеццо Брамса разучивал тогда Генрих Нейгауз. Отец восхищался им и тем, как его жена не только справлялась с домашним хозяйством и сама воспитывала двоих сыновей, но и устраивала концерты мужа. Рассказывали, какой спасительной помощью она окружала Генриха Густавовича в годы гражданской войны на Украине. По возвращении в Москву отец, не умея и не желая скрывать свои чувства, рассказал маме, какое сильное впечатление произвела на него Зинаида Николаевна Нейгауз, ее судьба и характер. Мама не могла с этим примириться; наша семья распалась.

С помощью Романа Роллана отец выхлопотал разрешение на заграничную поездку для нас с мамой. Ему самому вновь было отказано в выезде. Провожая 5 мая 1931 года нас к родителям в Германию, отец думал, что мы там надолго останемся, маму вылетит и она, окрепнув, сможет жить самостоятельно. Об этом без обиняков говорится в написанном вслед уехавшей стихотворении:

*Не волнуйся, не плачь, не труди
Сил иссякших и сердце не мучай.
Ты жива, ты во мне, ты в груди,
Как опора, как друг и как случай.*

*Верой в будущее не боюсь
Показаться тебе краснобаем.
Мы не жизнь, не душевный союз, —
Обоюдный обман обрубаем.*

*Из тифозной тоски тюфяков
Вон на воздух широт образцовый!
Он мне брат и рука. Он таков,
Что тебе, как письмо, адресован.*

*Надорви ж его ширь, как письмо,
С горизонтом вступи в переписку,*

*Победи изнуренья измор,
Заведи разговор по-альпийски.*

*И над блюдом баварских озер
С мозгом гор, точно кости мосластых,
Убедишься, что я не фразер
С заготовленной к месту подласткой.*

*Добрый путь. Добрый путь.
Наша связь,
Наша честь не под кровлю дома.
Как росток на свету распрямясь,
Ты посмотришь на все по-другому.*

Это было иллюзией, подобно многим, на которых в это время строилась жизнь. Европа переживала экономический кризис, мечта о Франции была неосуществима. Меньше чем через год мы вернулись в Москву, чтобы пережить тяжелый период семейной драмы, голодное начало 30-х годов, увидеть взорванный храм Христа перед окнами волхонской квартиры, разбитыми взрывной волной. Тем не менее люди жили, растили детей и тешили себя надеждами. Таково было время наиболее активной работы мамы как художника. Ее картины выставлялись, приобретались закупочными комиссиями. Ее окружили друзья Душенов и творчески ее поддерживала Сарра Дмитриевна Лебедева.

После войны положение резко изменилось. Мама несколько лет снимала мастерскую вместе со своим учителем и другом Р. Р. Фальком. Они вместе писали натуру, лишённые возможности выставляться и получать заказы.

Мои родители сохранили добрые отношения на всю жизнь. Неиссякаемая любовь и доброта отца сумели изгладить в душе матери боль и обиду. Частые приходы, близкое участие в нашей жизни по-прежнему делали его незаменимым другом и постоянной опорой. Он радовался, видя, каким самостоятельным человеком и художником становилась мама, как она справлялась с душевными трудностями. О том, как он мучился своей виной перед нами, я узнал позже от него самого, о незаживающей ране этого разрыва в его душе вспомнила и Зинаида Николаевна.

Смерть отца подкосила мою мать. Она вскоре нервно заболела и скоропостижно скончалась 10 июля 1965 года на шестьдесят шестом году жизни. Ее рисунки и картины, среди которых портреты известных людей 1930—1950-х годов, все еще ждут общественного внимания. Мои попытки устроить ее выставку наталкиваются на препятствия и, к моему стыду и горю, не привели пока ни к каким результатам.

Евгений ПАСТЕРНАК

ПОСТСКРИПТУМ ИСКУССТВОВЕДА



Е. В. Пастернак принадлежала к тем художникам, которые образовывали область неофициального искусства в 1930—1950-е годы, пока еще почти не изученную. Это искусство воплощает взгляд на мир отдельного человека, частное, личное восприятие, ничем не жертвующее «групповой дисциплине». Школой этих художников были левые направления 1910—1920-х годов, и последующее их обращение к фигуративным формам, к природе было не компромиссом с господствующей с тридцатых годов в советском искусстве линией, но продолжением и развитием поиска их молодости. Пространственный язык их работ построен на живописных открытиях первых десятилетий XX века. В некоторых пейзажах Е. В. Пастернак можно видеть, как обрушивается вниз, увлекая взгляд зрителя, передний план и стремительно уносится в глубины средний и дальний — не равномерное и спокойное течение пространства, но пере-



Портрет Б. Пастернака. Берлин, 1922 г.
Тверской бульвар, 20-е годы

бок, «обвалы» его. Нет внешних, очевидных примет следования Сезанну — ступенчатого мазка, выкладывающего цветовой плоскости, но этот пространственный язык, несомненно, впитывает его опыт, так же как и опыт левых направлений 1910—1920-х годов. Он позволял создать в небольшом этюде глубокое, драматическое пространство, а не пассивно пе-

ренести увиденное на холст по правилам прямой перспективы. В пейзажах Е. В. Пастернак чувствуется присутствие этой «пружинки», которое отличает независимое искусство 1930—1950-х годов от окружающего «передвижничества», бывшего символом неживого для Бориса Пастернака.

Т. М. ЛЕВИНА





50-е гг.



1927 г.

Из тетради Т. В. Толстой

Автор публикуемых здесь записей о Пастернаке, поэт и беллетрист Татьяна Владимировна Толстая (1892—1965), печаталась в 1910—1920-х годах под псевдонимом Татьяна Вечорка. Ее воспоминания о встречах с Хлебниковым, Маяковским и Блоком вошли в научный обиход.

Свою литературную деятельность Т. В. Толстая начала в Петербурге, где жила с 1913 по 1917 год и училась на драматических курсах Петровского и в Академии художеств. Печатила стихи в петербургских журналах и газетах. В 1918—1919 годах, переехав в Тифлис, а затем в Баку, активно участвовала в литературной жизни, выпустила здесь три стихотворных сборника «Беспомощная нежность», «Магнолии», «Соблазн афиш» (1918—1920). Работала вместе с Хлебниковым, Крученых в Кавроста, выпустила вместе с ними сборник «Мир и остальное» (1920). В 1924 году переехала в Москву, некоторое время училась в Литературно-художественном институте имени В. Брюсова. В 1927 году выйдут ее последний сборник стихов «Треть души», о котором идет речь в публикуемых записках.

Впоследствии Т. В. Толстая написала историко-литературные книги о Бестуже-Марлинском, Лермонтове и Рылееве. Второе, переработанное издание романа о Бестуже-Марлинском (1933) было печатно посвящено Борису Пастернаку. Поэт ответил на это посвящение стихотворной надписью на своей книге «Воздушные пути»:

*Чем незаслуженнее честь,
Тем знак ее для нас священной.
Все это в избытке есть
И в Вашем лестном посвященьи.
Благодарю. Горжусь и рад
Попасть под Ваш протекторат.*

Публикуемые здесь записки о Пастернаке относятся, вероятно, к 1927 и 1928 годам. Преимущественно эти записки носят дневниковый характер, но некоторые

роютно, Ю. Солнцева слышала эту главу в устном исполнении автора) в октябре 1927 г., то есть уже после внесения правок в текст. Примечательно также свидетельство Т. В. Толстой об интересе Пастернака к Вяч. Иванову, которого он впоследствии вспоминал в «Охранной грамоте» и в «Людях и положениях», и особенно отзыв Вяч. Иванова о молодом Пастернаке. Он пронизательно указал на связь названия и концепции «Сестры моей — жизни» с гимназиями Франциска Ассизского, что только недавно уловил английский исследователь Пастернака Г. Гиффорд в своей монографии о нем (1977).

Важно также свидетельство самого Пастернака, зафиксированное Т. В. Толстой, о «глубоком увлечении» им в молодости Ж. Лафоргом, что подтверждает косвенно сведения, сообщенные К. Локсом и Вяч. Вс. Ивановым, о несохраненной «Лафоргианской тетради» стихов. Конечно, очень жаль и «грустно», как пишет сама Толстая, что из бесед с Пастернаком, «из нескольких тысяч слов можно записать только десяток». Но и за это мы, читатели Пастернака, должны быть ей очень благодарны.

Записки Т. В. Толстой любезно предоставлены для публикации ее дочерью Л. Б. Либединской.

В первый раз я была у Пастернака в 1926 г. от журнала «30 дней» с просьбой дать статью, которую у меня просили в журнале. После долгих переговоров он согласился, пришлось ехать к нему (против Храма Христа), хотя этого не хотелось. Передн <я> — она же по московской тесноте и столовая, где на стене висит громадный портрет работы, верно, его отца. Сын его Женя сидел, подвязанный салфеточкой, и что-то ел, было ему около 2-х лет. Сын поразил меня своим развитием — показал картинки каких-то диковинных рыб, не путая их названий, и даже начал угощать киселем. Мать смеялась. Вышел Б. Л., и меня

У него нет дурной заправки
и обиды к людям...

вставные фрагменты написаны, очевидно, позже (например, эпизод с Горьким). Сохранилась также еще одна записная книжка Т. В. Толстой, где идет речь о двух вечерах Пастернака, состоявшихся в 1931 году. Записки из первой тетради относятся ко времени работы Пастернака над поэмами «Девятьсот пятый год» и «Лейтенант Шмидт» и представляют несомненный интерес. Прежде всего это объяснение самим поэтом, какое принципиальное значение для него имеет использование аграмматизмов, нередко встречающихся в его текстах, главным образом ранних. Например, оборот «со вчера», о котором говорит Пастернак, был в первой редакции главы «Детство» (из поэмы «Девятьсот пятый год»), напечатанной в альманахе «Пролетарий» (Харьков, 1926), но уже в отдельном издании поэмы, вышедшем в августе 1927 г., эта строка была дана в исправленной редакции (сообщено К. М. Поливановым). Интересно, что Пастернак ведет разговор об этом (ве-

поразила его порывистая речь, исключительная экспансивность и умение сосредоточиваться на теме, когда говорит. Это же подтвердилось, когда его я видела у Чугуновых¹. Его заставили слушать композитора Сараджева², и он слушал чрезвычайно доброжелательно. Потом он сразу выразил в необычайно деликатной форме то, что мы все думали — слышится отдельными композиторами, местами Шопен, Бетховен, Шуман, и странно, что одна тема переходит в другую — «Чайковский» в «Сон на Волге»³, и это изумляет — однако связи нет, потому что своего, сараджевского, не чувствуется.

В разговоре поразило его благородство по отношению к поэтам и людям: он обо всех отзывался очень беспристрастно и благожелательно — у него нет дурной заправки и обиды к людям, хотя ему уже года 32—33, и, верно, ему пришлось много претерпеть. В частности, он очень нуждается в

деньгах, но и об этом говорит как-то по-философски.

О. П. Рунова сказала, что была и там, и там и слышала и того, и другого — Пастернак сказал: «А я нигде не бываю и не знаю многих, потому что иначе и работать нельзя».

Стихи свои он читал, затрудняясь, видно, не помнил их наизусть, да и не знал, что станут просить — читал о лейтенанте Шмидте. После него читала какая-то девочка лет 16, потом Зуб<акин>¹, потом я — он добродушно похвалил девочку, одобрил Зуб<акина>, а мне ничего не сказал. Когда уже уходили, я сказала — почему же вы обо мне ни слова? Он сконфузился и громким голосом — это у него, <когда> волну<ется> — заговорил: «Но ведь то же дилетанты, а вы профессионал. Я должен посмотреть ваши стихи, прежде чем высказываться окончательно. Но я вижу, что тут дело серьезное».

Спускались вместе с толпой гостей по черной лестнице, он опять подошел, начал говорить, но кто-то из знакомых подошел, он перестал.

22/IV 1927 я шла по Тверской с Лидой от Алеши⁵, и обе были мокры от морозящего дождя. Пастернак в своем сером весеннем пальто остановил меня: «Я прочел Вашу книгу⁶. Как много в ней хорошего. Вы понимаете, что есть стихи, сделанные просто так, а у Вас кровинка есть».

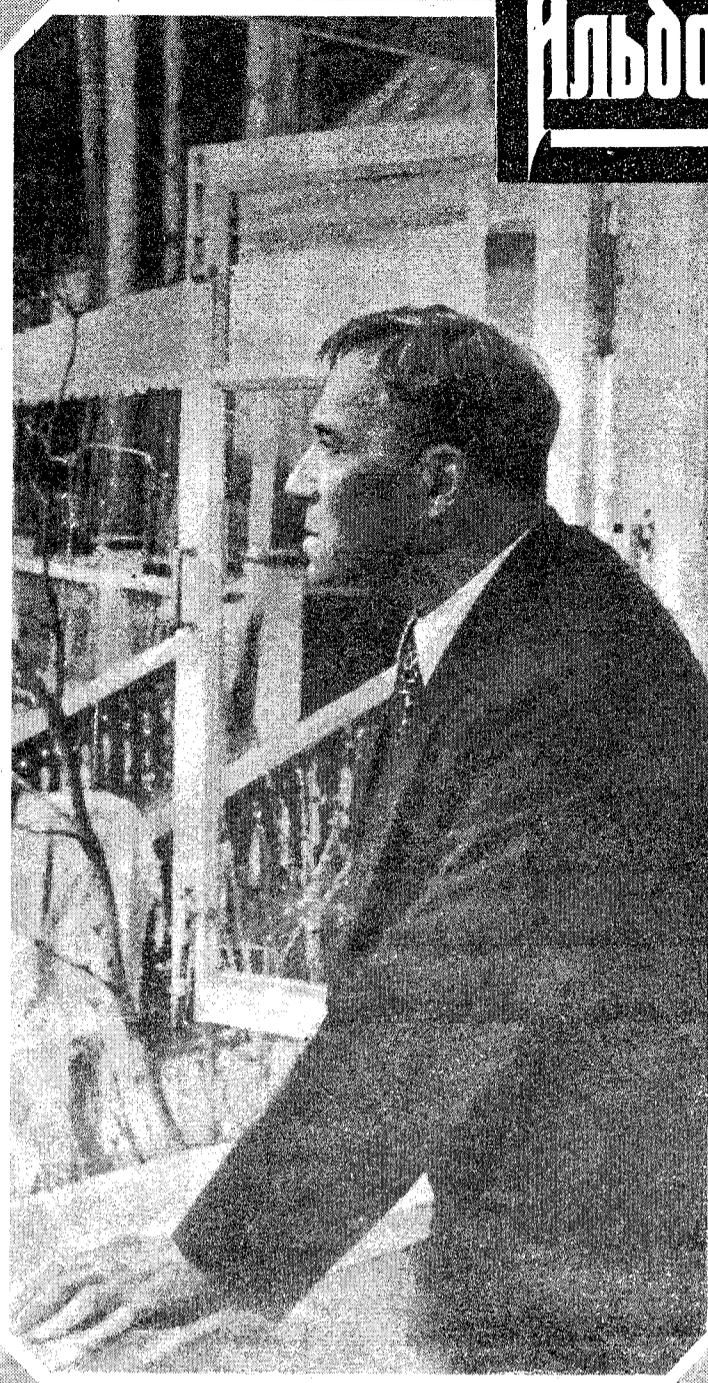
1927.IX.? Была у Артема Веселого, в полумраке электрической лампы различила сразу длинный профиль Пастернака, склоненного над столом. Он молчал <...> в конце разошелся <...> и начал смотреть на киноартистку Солнцеву, сидевшую напротив него, она спросила:

— А что значит — «снег падал со вчера»? Это нечаянно или нарочно?

— Ну конечно, нарочно! Я же умею говорить правильно. Но мне кажется, что вместо того, чтобы сказать «со вчерашнего дня», лучше, короче

долго тарыхтела, пока открыли (живут они без звонка). В передней комнате-кухне жарилось мясо. Прислуга позвала его. Он вышел из спальни — тоненький, в черной вязаной курточке — лицо смуглое, словно загорелое и исхудавшее, губы побледнели, волосы свисали, как обычно. Заинтересовался отзывом обо мне Вяч. Иванова¹⁰: «Постойте, покажите, мне интересно». Читал внимательно, мгновенно подбирался и сосредоточивался, потом опять убежал подписывать, опять стучали, пришла соседка, потом его жена, все куда-то спешили, торопились, и он сам метался. Рассказывал, что у сына воспаление почечных лоханок, а у него болит рука, — мылся и неловко повернул, а летом, в первый раз растянул, когда пригнал орешник на даче. Улыбнулся смущенно своей «детскости». «И вот так целый день суета, даже 10 минут в день не могу выбрать сделать гимнастику, а доктор сказал, что необходимо». Жена рассказала, что они собираются менять квартиру — с Волхонки на Якиманку и только не могут разобрать, не сырая ли она? Хотя комнаты меньше, но у всех свой угол. Пастернак сказал, что выйдет со мной, когда я уходила. Он бросил пальто жене, она поддержала, он с трудом, морщась, продел левую руку. Пальто старенькое, я была в грусти, так как он стеснялся его и смотрел растерянно. На улице рассказывал, что пишет для «Н<ового> мира» статью о Рильке, немецком поэте: «Я ведь не знал, что он меня знает, а оказывается, знал, я написал тогда ему письмо — он ответил очень длинно и ласково, благословил меня. Вскоре он умер. Это очень грустно — он оказал большое на меня влияние».

Мы шли по тротуару, а когда переходили улицу, он неизменно легко подхватывал под локоть — привычкой воспитанного человека. Говорил еще, что очень собирается за границу



Перedelкино, 1956 г.

Меня поразила его порывистая речь...

и выразительнее сказать. Вот, например, недавно один вузовец приставал, что надо переставить падеж в строчке «стекле и цемента» (или наоборот, не помню). Он прав, грамматически надо, но я не могу, мое ухо требует так.

Он вздохнул:

— А я-то думал, что это стих<отворение> стало классическим. А тут разговоры — «со вчера!» Да, конечно, я так и хотел сказать!

Разговор стал общим, Пастернак рассказывал:

— Потребность в ритмической речи у крестьян удивительна. Когда мы были на даче (он назвал подмосковную), то наша (не то хозяйка, не то прислуга) в какой-то праздник или святого позвала нас всех. Поставила угощение — пряники, орехи и прочее, все мы сидели — тихо. Потом встала: «Ох, как стихов хочется». Она сказала как-то проще — кажется, стишков. Она не знала, кто я, но попросила меня читать «Евгения Онегина» — я читал долго. Все слушали очень внимательно — потом начали играть на гармошке и прочее. Пастернак смеялся губами.

Я попросила его надписать книгу.

— Сейчас.

Он вышел, потом сердился, что нет чернил у Артема, взял химический карандаш — надписал: «Настоящей Т<олстой> — во имя существа»⁷. Спросил: «Вы понимаете, что это значит?» Потом неожиданно поцеловал в левый угол рта. Тревожно спросил: «Может, было нельзя?» Я ответила: «<Прекратите>, вам все можно».

15/XII.1927. Надо получить подпись-рекомендацию для «Никитинских субботников»⁸. Накануне позвонила ему от Маруси⁹. «Ведь вы же знаете, как я к вам отношусь, — и тогда я вам книгу надписал — это же подарком». Подпись обещал дать с удовольствием — просил приехать завтра утром. Дети шумели, и слова его я слышала плохо. На следующий день я

поработать и пожить возможно подольше, а то в нынешних условиях тяжело что-то выжать из себя. Когда вокруг ходят и с утра надо вставать рано, спать не дают, а когда хочется работать, то телефон и тысячи разных дел. Видел, что я стесняюсь, поэтому говорил сам и манерой нежной внимательности наклонился каждый раз, <когда> я говорила.

— Если бы возможно! Ох, если бы было возможно, поехал бы во Францию, я разлюбил ее после войны и вообще послевоенного времени, но Лафорг оказал на меня слишком глубокое впечатление.

Подошли к трамваю. Он поцеловал руку, вдруг крикнул ласково:

— А почему вы меня удержали? Я бы вам дифирамб написал!

Трамвай подошел, я стала на подножку и опять почувствовала его руку, обернуться уже не было сил.

Все не то — когда видишь каждую жилочку, когда ощущаешь живое существо, из нескольких тысяч слов можно записать только десятки — грустно.

Первый разговор о Пастернаке был с Вяч. Ивановым. Я ему принесла книжечку «Сестра моя — жизнь», был 20-й год¹¹, книги разыскивались туго.

— Вот, мне нравится.

Вяч. Иванов:

— Ну что же, мне давно уже нравится. Широкий масштаб, но автор молодой, иногда дает «срывы». А почему «Сестра моя — жизнь»?

— Франциск говорил: иду проповедовать сестрам моим, рыбам.

— Сами вы рыба. Надо англизировать: сестра моя — смерть — сказал Франциск Ассизский. А имеет ли он право так называть свою книгу?

— Имеет. Блажен и тяжел.

— Почти так. А разница?

— Тот попросил перед смертью миндального пирожного, а этот попросит шампанского.

● ОКОНЧАНИЕ НА 10-й СТР.



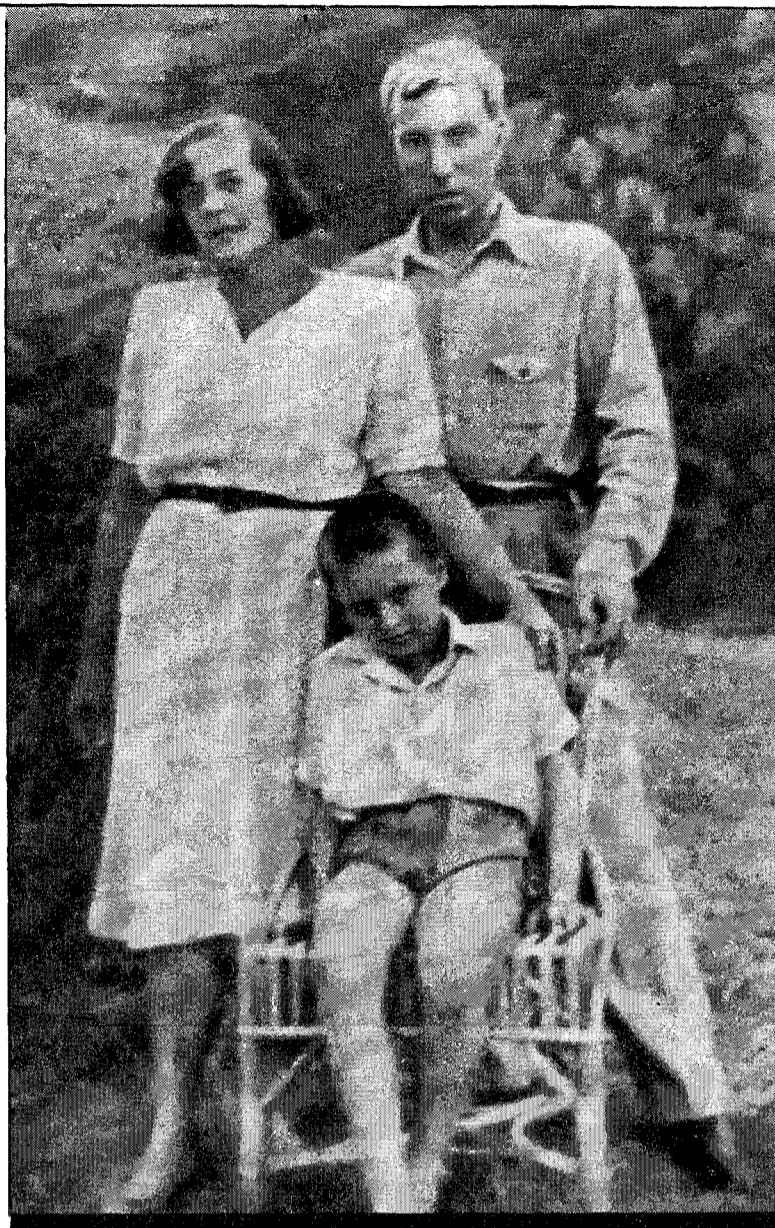
Москва, 1948 г.

А. АСМУС

Она была поразительно красива. Я познакомилась с ней в 1947 году, когда ей было уже 50 лет, но и в 50 лет она была настоящей красавицей. А в молодости... Мне рассказывала певица Бутото-Наванова, как, придя к Нейгаузу в девятнадцатом или в двадцатом году, она впервые увидела Зинаиду Николаевну. Она говорила, что это было одним из самых сильных впечатлений в ее жизни, настоящим потрясением и что всю жизнь она помнит сияющие глаза Зинаиды Николаевны. И эта красавица не гнушалась самой черной работы. Во время войны в эвакуации она работала сестрой-хозяйкой в детском доме и делала не только то, что полагалось сестре-хозяйке, но и мыла полы, топила печи, стирала.

Зинаида Николаевна была прекрасным музыкантом. Училась в Елизаветграде в музыкальной школе Нейгаузов у сестры Г. Г. Нейгауза Наталии Густавовны, а потом у самого Генриха Густавовича. Много играла в четыре руки с Нейгаузом и Горовицем. Глубоко понимала музыку. В. Ф. Асмус, который был знаком с нею почти 50 лет, говорил мне: «Гаррик всегда очень внимательно слушает все, что говорит ему Зина о его исполнении». А когда уже после смерти Генриха Густавовича мы были как-то на концерте Станислава Нейгауза и после концерта Асмус очень хвалил его, Станислав сказал: «И все — мама». Оказалось, что он (и не один раз) играл всю программу ей.

Когда-то, в конце 50-х годов, мы с мужем были у Пастернаков в Переделкине. После обеда все разбрелись по разным углам. Борис Леонидович по



Б. Л. Пастернак с Зинаидой Николаевной и сыном Леной.

любить иных —
тяжелый крест,
А ты прекрасна без изъянов,
И прелести твоей секрет
Разгадке жизни равноситен.
Васною слышен шорох сна
И шелест новостей и истин.
Ты из семьи таких основ,
Твой смысл, как воздух,
бескорыстен.
Легко проснуться и прозреть,
Словесный сор
из сердца вытрясти
И жить, не засоряясь впрядь.
Все это — не большая хитрость.

1931

● ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА 8—9-й СТ.

Вяч. Иванов смеялся:
— Все правильно, но надо говорить более академически.

Милочка¹² говорит: «Горящий Пастернак». <...>
Мама: «Хорошие стихи у Пастернака и по темам и вообще виден большой размах. Но что значит «И в роже пух, и бредил Бог»? Я искренно говорю: не понимаю...»¹³ <...>
Кр <ученых> расск<азывал>, что он падох на знаменитостей — все спрашивал, не жена ли я Есенина, и разочаровался, что нет...

Он был у нас в июле.
— О Вяч. Иванове: мы с Балтрушайтисом спорили: неужели Вячеслав всегда говорит в напыщенном тоне? Спрятались как-то в кусты и начали кричать, как совы. Мы жили все на даче. Вячеслав в верхнем этаже — вышел он на балкон и говорит: «Вера¹⁴, ты знаешь, как будто кричит сова. А ты знаешь, что это мне напоминает? Грецию». И тут же, на балконе, объяснил ей приметы греков на этот счет. Мы сидели в кустах, и было совестно и неловко пошевелиться. Наконец выскочили и убежали. На следующий день за обедом Вячеслав в точности повторил свои рассуждения, в еще более высокопарной форме. Так мы не дождались от него простого разговора.

— О Горьком. Эпизод с поездкой Аси и З.¹⁵ Горький остался недоволен, что к нему они приезжали, так как он не нашел в них ничего замечательного. Я ему написал: «Напрасно. Вы можете требовать от людей порядочности, честности, умения себя держать наконец, но одаренности Вы не имеете права требовать. По отношению к ним Вы были как бы рождественским дедом. Вы осласливили людей, — достаточно и этого, если даже это и просто рядовые люди». Горький рассердился и написал, что мое письмо сплошная истерика и что нам не о чем переписываться. Ну что же делать. Потом он тут меня увидев, ласково встретился, сказал, что следовало бы встретиться еще, но не назначил дня.
— Теперь, после болезни, я так исхудал, что губы мои еще больше выпятились; ну, словом, когда я про

сыпалось утром — губы мои лежат отдельно на подушке, и я их вижу.
— Маяковский — Гёте, а Асеев — Шиллер.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. Неточность: хозяйками этой квартиры были писательница О. П. Рунова (1864—1952) и ее дочь концертмейстер Н. А. Мещерская (1892—1966).
2. К. К. Сараджев (1900—1942) — известный в то время в Москве звонарь-композитор, ему посвящена кн. А. И. Цветаевой и Н. К. Сараджева «Мастер волшебного звона» (М. 1989).
3. Речь идет о композиторе А. Арени, авторе оперы «Сон на Волге».
4. Б. М. Зубакин (1894—1937) — археолог и поэт-импровизатор, автор сб. «Медведь на бульваре» (М. 1929).
5. А. В. Ефимов (1896—1971) — брат Т. В. Толстой, историк.
6. Сб. Т. В. Толстой «Треть души» (М. 1927).
7. Надпись, вероятно, была сделана на издании «Две книги» (1927), которое не сохранилось.
8. В «Никитинских субботниках» планировалось издание книги Т. В. Толстой о Рылееве, которое не было осуществлено. К этому замыслу относятся и сохранившаяся фотография Пастернака с дарственной надписью «Милой Татьяне Владимировне Толстой с пожеланием успеха с «Декабристами». Б. П.
9. Двоюродная сестра мемуаристки М. К. Ефимовой (1896—1975).
10. Рекомендация Вяч. Иванова Т. В. Толстой для вступления в бакинский «Цех поэтов» сохранилась в ее альбоме (ЦГАЛИ).
11. Этот разговор мог состояться лишь в 1922 или 1923 г., когда вышли первое и второе издания книги «Сестра моя — жизнь».
12. Актриса Театра кукол Л. В. Эракская.
13. Н. А. Ефимова (1870—1942) — мать Т. В. Толстой. Здесь цитируется стихотворение «Душная ночь», к которому Пастернак после такого рода замечаний дал к этой строчке, начиная с одноклассника (1933), автокомментарий: «Не все догадываются, что рожа тут в значении болезни, а не уродливого лица».
14. Летом 1914 г. Пастернак жил у поэта Ю. Балтрушайтиса «на Оке, близ города Алексина». Вера — вторая жена Вяч. Иванова, В. К. Шварсалон (1890—1920).
15. Речь идет об А. И. Цветаевой и Б. М. Зубакине, которые в августе 1927 г. ездили в Сорренто к Горькому. Подробнее см. об этом в переписке Пастернака и Горького — «Литературное наследство», т. 70.

Вступительная статья, публикация и примечания А. Е. ПАРНИСА

Пастернак был какой-то особенный, ни на кого не похожий. Трудно было представить его себе вне поэтического вдохновения. Это в нем побоялось как дото, кто с ним встречался. Поражал он также своим удивительным умением слушать — не из любезности, не из вежливости, нет, из человеколюбия, из уважения к человеку, кто бы он ни был. Пастернак умел слушать на редкость внимательно, все запоминая. Он часто потом вспоминал и рассказывал эти случайные разговоры. Он умел раставить другого человека уважать себя, как бы поднимая собеседника в его же собственных глазах.
Надолго запомнился приезд Пастернака в Одронаны. В его честь на большом баллоне дома Полторацких был накрыт стол. Весь Тбилиси был виден оттуда как на ладони.
Борис встал лицом к городу, как бы обращаясь к нему, читал стихи.

*Пока мы по Кавказу лазаем,
И в задыхающейся раме
Кура ползет атакой газовой
К Арагае, сдавленной горами...
Пока я голову заламываю,
Следа, как шею укрепленной
Плывут по синеве сиреневой
И тонут в бездне поколений,
Пока, сменяя рожи языковые,
Курчавится лесная мелочь,
Что шепчешь ты,
что мне подсказываешь,
Кавказ, Кавказ, о что мне делать!*

Тициан прочитал тогда стихотворение «Маленькие собачки» («Сельская ночь») а Паоло — Вальмонта: «Я на башню всходил».
В свободные часы Борис любил бродить по улицам Тбилиси. Нередко он начинал читать стихи, и тогда прохожие невольно останавливались, пораженные его вдохновенным лицом. А он, влюбленный буквально в каждого встретившегося ему тбилисца, отвечал им доброй, ласковой улыбкой и увлекал, заражал своим вдохновением. Это были кратковременные, но очень сердечные, надолго запоминавшиеся встречи.
Вообще, нужно сказать, что Бориса Пастернака редко покидало вдохновение, такова была особенность его натуры. О чем бы он ни заговаривал, разговор неизбежно переходил к поэзии, даже самая, казалось бы, обыденная тема. И поэтому, когда он говорил, все вокруг невольно попадало под его влияние, подчиняясь его порыву.

* Нина Александровна Табидзе (1900—1964) — жена Тициана Табидзе, друг Пастернака.



НИНА ТАБИДЗЕ

Я помню, как часто мы встречались с Пастернаком в Москве в период работы I съезда писателей. Тициан, Пастернак, Тынянов и Бабель держались все время вместе. Речь Тициана на съезде произвела большое впечатление к нему подходили делегаты, знакомиться, жали руки.

В бывшем кафе Филиппова на улице Горького была устроена в дни съезда писательская столовая. Мы с Нитой приехали тогда из Ленинграда. Вечером мы с Тицианом пошли в кафе. Не успели мы войти, как Пастернак с присущей ему непосредственностью воскликнул на весь зал, обращаясь к Федину: «Костя, вот пришла жена Тициана и родственница Нины Грибоедовой». Едва мы сели за стол, он взял Ниту за руку и куда-то увел. Они вернулись спустя час. Оказалось, что Борис Леонидович повел девочку к памятнику Пушкину, ему хотелось, чтобы она именно тут, возле памятника, услышала пушкинские стихи. Он рассказывал ей о Пушкине и других русских поэтах, читал стихи.

Горький называл тогда Ниту «съездской дочерью».

В те дни в «Известиях» были напечатаны несколько стихотворений Тициана в переводе Пастернака — «Не я пишу стихи», «Иду со стороны черкаской» и стихотворение Паоло о Левине. Леонид Леонов, встретив Тициана на лестнице Дома писателей, остановился, крепко его обнял и сказал: «Как замечательно, что «Известия» опубликовали ваши стихи. И какие стихи! На душе стало светлее».

Вскоре затем Пастернак перевел «Маленьких собачек» и «Окроканы». Последнее Пастернаку особенно нравилось.

*Если мужества в книгах не будет,
Если искренность слез не зажжет,
Всех на свете потомство забудет
И мажонщиков нам предпочтет.*

В 1946 году я вышла замуж за Станислава Нейгауза, сына Зинаиды Николаевны — второй жены Пастернака. Станислав с четырехлетнего возраста воспитывался в семье Бориса Леонидовича. В течение четырнадцати лет с весны до поздней осени и все свободное от гастролей время мы жили в Переделкине.

У Бориса Леонидовича был строгий режим: вставал он в восемь часов, делал зарядку, обливался холодной водой во дворе, завтракал, шел на огород (подол или копал), затем поднимался к себе наверх в кабинет и работал до часу,

Как они все себя показали в тот период, а теперь думают, что все можно забыть.

С К В О З Ъ П Р О Ш Л О Г О П Е Р И О Д А

Галина НЕЙГАУЗ

затем гулял. Ровно в три часа был обед (Борис Леонидович очень не любил, если кто-нибудь опаздывал). К этому времени стол был уже накрыт. За обедом Борис Леонидович часто рассказывал о письмах, которые он получал от своих почитателей (на все письма он находил время отвечать). После обеда Борис Леонидович ложился на час отдыхать. Потом он заваривал себе чай и шел опять работать. В восемь часов Пастернак шел гулять и возвращался к ужину после десяти часов. Изменения такого режима были очень редки. Зинаида Николаевна строго следила за тем, чтобы ничто не мешало работать и не срывало режима, и это Борис Леонидович очень ценил.

Большой радостью для Пастернака были праздники, на которых собирались близкие ему поэты, музыканты, актеры. Среди них бывал иногда и Андрияш Вознесенский, несмотря на то что тогда ему было всего лет пятнадцать. Борис Леонидович с теплотой и гордостью представлял Андрияшу как своего друга и ученика; говорил, что он очень талантлив и из него выйдет большой поэт, если он целиком займется поэзией (Андрей в то время собирался поступить в Архитектурный институт).

В 50-х годах в писательские дачи проводили телефоны. Борис Леонидович отказался. Он считал, что для дачи благо — оторванность от города, а телефон — это уже непосредственная связь. У Бориса Леонидовича был почти ритуал — два-три раза в неделю он ходил в контору городка писателей звонить по делам в Москву, и только в редких случаях, если было что-нибудь очень срочное, он ходил к Ивановым.

Были разговоры, которые меня очень интересовали. Как-то Борис Леонидович рассказал о разговорах по телефону со Сталиным. Об одном из них я хочу рассказать.

Со Сталиным его соединил Поскребышев — секретарь Сталина. В то время Пастернак жил в общей квартире в связи со вторым браком (это были 30-е годы). Телефон стоял в коридоре. Борис Леонидович очень растерялся и начал говорить, что ему о многом хотелось

сказать, но «из дверей высунулись соседи и поэтому трудно говорить. Хорошо было бы встретиться». На это Сталин ничего не ответил, а после паузы сказал, что один его друг пишет стихи и ему хотелось бы знать мнение Пастернака о них. Потом Сталин спросил, нуждается ли в чем-нибудь Пастернак. Еще больше растерявшись, Борис Леонидович почему-то сказал, что у него все в порядке, хотя жилищные условия были очень плохие. Через несколько дней Пастернаку привезли стихи. Борис Леонидович сразу же понял, что это стихи самого Сталина. Они оказались довольно примитивными и неинтересными. Борис Леонидович мучительно думал, как ему об этом сказать, но звонка долго не было, и он успокоился, решив, что уже все забыто. Неожиданно раздался звонок. И вот тут Пастернак решительно сказал Сталину, что стихи плохие и «пусть его друг лучше занимается другим делом, более для него подходящим». Помолчав, Сталин сказал: «Спасибо за откровенность, я так и передам». После этого Пастернак ожидал всего. Но жизнь проходила спокойно, его по-прежнему печатали.

С большим возмущением почти через 10, с лишним лет Борис Леонидович рассказывал, как в 1937 году к нему на дачу приехал представитель Союза писателей, собиравший подписи под письмом, в котором писатели требовали смертного приговора врагам народа, преступникам — Тухачевскому, Якиру и другим. Борис Леонидович категорически отказался подписаться, как его ни уговаривали. Он сказал, что не знает этих людей и вообще человеческими жизнями распоряжаться не имеет права. Представителя Союза писателей

он буквально выгнал. Через несколько дней Пастернака вызвал к себе председатель союза. Долго уговаривал подписать, упрекал в том, что Борис Леонидович ставит себя по отношению к своим товарищам в особое положение, на что Пастернак сказал: «Если они подписали это письмо, значит, они мне не товарищи». После этого разговора Борис Леонидович совсем успокоился. Каким же было потрясением для него, когда через несколько дней он увидел в газете это письмо и среди подписей была и его. Он оживился, но не такого подлога. Поехав тут же в Союз писателей, Пастернак потребовал оригинал своей подписи. Но ему сказали, что это произошла ошибка по вине редакции. Опровержения, которого он потребовал, конечно, писать никто не стал. Единственно, чего он достиг, так это того, что его подпись уже больше под такими письмами не ставили и к нему даже не обращались.

Как-то я спросила Пастернака — крещен ли он и верит ли в Бога? Борис Леонидович ответил, что не крещен, но это не имеет никакого значения, так как крещение — только форма; в Бога же верит как во что-то совершенное и не постижимое человеческим разумом; он уверен, что смерть — это не конец, а только переход из одного состояния в другое и поэтому она ему не страшна. И вот тут Борис Леонидович сказал, что хотел бы быть похороненным на Переделкинском кладбище и так, чтобы могла быть видна из окна дачи.

После присуждения Нобелевской премии Пастернака сразу же исключили из Союза писателей. На общем собрании писателей Москвы, организованном 31 октября, он был вызван повесткой. Бо-

рис Леонидович на собрание не пошел, но с утра уехал в город. Вернулся очень огорченный, удивляясь, «что можно обсуждать, если роман никто не читал».

В течение двух недель мы со Станиславом почти безвыездно жили на даче. На Бориса Леонидовича было страшно смотреть, так он был измучен. Однако он ни разу не впал в отчаяние и держался очень стойко. После одного из вызовов в ЦК и настойчивого предложения выехать за границу Борис Леонидович начал терять мужество и был очень угнетен. Первый раз у меня по-

явилась почти физическая боль за него.

Зинаиду Николаевну я знала на протяжении двадцати лет и была с ней очень близка. Она много рассказывала о своей интересной и необычной жизни — детстве, молодости. История Комаровского и Лары в «Докторе Живаго» взята Пастернаком из юности Зинаиды Николаевны. Она была женой двух великих людей — Нейгауза, а потом в течение почти тридцати лет — Пастернака. На ее руках он умирал. Житейски мудрая, она много страдала, но старалась никому этого не показывать. Я не помню, чтобы она могла в чем-то отступить от своих принципов. Считаюсь с тем, что мы живем в Советском государстве, она принципиально не принимала в доме иностранцев. Однажды, уже в последние годы жизни Пастернака, за обедом зашел разговор о том, как придется Зинаиде Николаевне экономить в хозяйстве. Борис Леонидович был в хорошем настроении и весело сказал: «А хотите, чтобы в доме было столько денег, что мы могли бы жить, как миллионеры?» «Откуда же они возьмутся?» — спросила я. «Из чулка, который у меня есть», — смеясь, сказал Борис Леонидович. На это очень серьезно ответила Зинаида Николаевна: «Деньги, полученные неизвестным для меня путем, в доме не нужны. Я предпочитаю сидеть на одной картошке». «Ну вот видите, как Зина ставит меня на место», — расстроено сказал Борис Леонидович. Он имел в виду деньги за издание за границей «Доктора Живаго».

В конце 1959 года к Пастернаку приехали из Союза писателей с предложением написать заявление о принятии его в члены союза. Борис Леонидович категорически отказался, сказав, что он не хочет находиться в их обществе — для него важно только то, что он член Литфонда и у него не отберут дачу, так как только там он может работать. Рассказывая нам об этом разговоре за ужином, Борис Леонидович с грустью сказал: «Как они все себя показали в тот период, а теперь думают, что все можно забыть».

СОВРЕМЕННЫЕ ЗАПИСКИ

Булат ОКУДЖАВА

Случилось однажды так, что мне довелось встретиться с Пастернаком. Я был студентом Тбилисского университета, начинал более-менее серьезно заниматься стихами, и у нас существовал литературный кружок. Все у нас в кружке исповедовали пастернаковскую стилистику и хвастались друг перед другом успехами в подражании ему. Конечно, все это было абсолютно вторично, трюнично... И вдруг мы узнаем о каких-то гонениях на Пастернака, о том, что он приехал в Тбилиси. Я помню, как мы, несколько человек, пошли в гостиницу «Тбилиси», где, как мы выяснили, он остановился, но застать его нам не удалось.

На следующий день Союз писателей Грузии устроил в его честь литературный вечер в маленьком своем зале. Мне удалось туда проникнуть, благодаря кому — не помню. Но помню, что сидел я довольно близко. Вышел Пастернак и очень был похож на свои фотографии. Он был в сером свитере, темно-синем костюме, потертом очень — обратил на это внимание — потертый костюм... У него такое было какое-то отрешенное лицо... Он вышел на маленькую сценочку и стал читать стихи. Об этом чтении говорили, что это особая пастернаковская манера. Он читал стихи, которые я уже знал. Но я впервые слышал, как он читает, и меня это все переполняло и очень волновало.

Он удалился в окружении тбилисских поэтов, а я, под впечатлением от всего

увиденного и услышанного, не спал всю ночь и на следующий день уже один попробовал пробиться к нему. Мне повезло: когда я подошел к его номеру в гостинице «Тбилиси», он в этот момент открывал ключом дверь своей комнаты. Я поздоровался с ним, он не удивился и спросил: «Вы ко мне?» Я ответил: «Да. Если вы позволите». Я сказал, что пишу стихи. Он широко жестом пригласил войти. Был довольно большой, светлый номер, стояли два кресла, и он указал мне на одно из них, сам сел в другое. Не спрашивая, кто я и что я, сказал: «Читайте». Я дрожащим голосом стал читать свои стихи и поглядывал на него. Я обратил внимание, что он смотрит в окно и такое впечатление, что он совершенно меня не слышит и ему это неинтересно.

Сейчас, когда я вспоминаю те подпастернаковские стихи, мне даже стыдно, но тогда я, еще молодой человек, робю, подогрет мнением наших кружковцев, которые очень меня высоко ставили, ну, в общем, я прочитал четыре или пять стихотворений. Он долго молчал, только про какую-то строчку сказал: «Это довольно неплохо», — повторив эту

строчку. Я уже не помню, какая она была и что там могло быть хорошего.

А потом я ему сказал, что учусь в Тбилисском университете на филологическом факультете и у меня очень большое желание поехать в Москву и поступить в Литинститут. Он как-то закинул голову, закрыл глаза и стал говорить о нашей литературе, и в частности о Литинституте. Я предполагал, что приду домой и запишу все, но не записал. Запомнилось, что он сказал: Литературный институт — это гениальная ошибка Горького. Горький сам прожил в неинститутскую жизнь и очень по этому поводу сокрушался и считал, что нужно обязательно организовать институт, который создавал бы поэтов и прозаиков. Собрать там людей из глубинки, потому что сами они не могут пробиться. И тогда же Пастернак сказал мне, что как хорошо, что вы учитесь в университете, потому что университетская программа, даже Тбилисского университета, гораздо серьезнее и значительнее, чем программа Литинститута. И для того, чтобы быть литератором, быть поэтом, совсем не нужно специальное профессиональное образование, а нужно просто широкое образование, гуманитарное. Его как раз и дает университет. Это мне запомнилось.

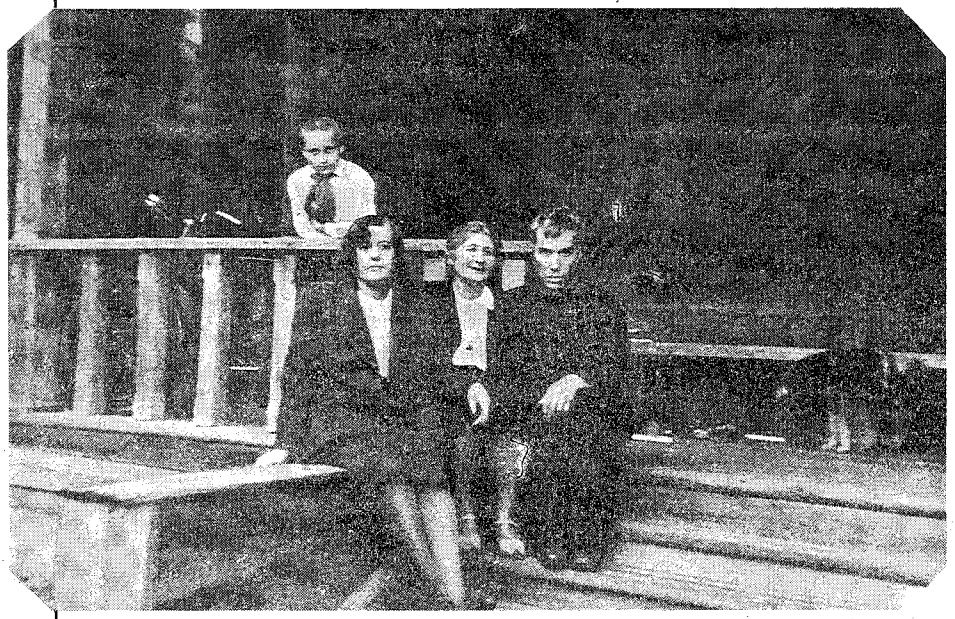
Больше я его не видел. Просто не решился. Для меня он был богом. Я отошел от его манеры, перестал подражать, но он остался для меня одним из самых замечательных учителей.

Был я на его похоронах. Работал тогда в «Литературной газете». Когда стало известно о том, что умер Пастернак, поэт гонимый, нельзя было, конечно, думать о том, чтобы откровенно и откры-

то поехать на его похороны — это могло кончиться очень печально. Но мы, сговорившись с Коржавиным, на машине наших друзей все-таки отправились в Переделкино. Мы присутствовали и при выносе тела из дома, и сопровождали на кладбище. В общем, были до самого конца. Прошло дней пятнадцать, и корреспондент «Литературки» Юрий Гаврилов пригласил меня в комнату иностранного отдела и, приставляя палец к губам, чтобы я ничего не говорил, достал из какого-то сейфа французский журнал «Пари-матч», где было несколько страниц, усеянных фотографиями похорон Пастернака. И на одной из них, как улика, — мы с Коржавиным на крыльце пастернаковского дома. Но меня никто не тронул, и начальство мне ничего не сказала.

Я жил в течение сорока с лишним лет под большим воздействием его поэзии. Есть любители Пастернака раннего периода, есть, наоборот, любители его стихов из «Доктора Живаго». А для меня Пастернак, вся его система поэтическая, его метрика, ход его мысли, он как личность — все это вместе, вся эта музыка мне очень близка. Все это была моя жизнь, я этим жил и этим питался. И меня это вдохновляло. В трудные минуты, когда бывало поэтическое безденежье и исчезало вдруг вдохновение, фантазия поэтическая, способность мыслить образами, когда все это исчезало, как бывает у всех, и на длительные периоды исчезало, тогда я брался за Пастернака. И оживал, и снова начинал писать, опять в своем ключе, и было чувство, что я заново родился и начинаю мыслить, и дышать, и думать, и мучиться...

Исайя БЕРЛИН



<...>

Не был я в России с 1919 года, когда наша семья уехала отсюда. Мне было тогда 10 лет. Москвы я не видел никогда. Я приехал в Москву ранней осенью <1945 г.>, получил в свое веденье стол в посольской канцелярии и окунулся в текущие мелочи. Но только в отличие от других иностранцев, во всяком случае тех из них, кто, как и я, приехал с Запада и не был коммунистом, я мог считать, что мне необычайно повезло: я познакомился с целым рядом советских писателей, среди которых были по крайней мере двое отмеченных печатью исключительной гениальности. <...> Одним из них был тот человек, которого я хотел увидеть больше всех.

— Борис Леонидович Пастернак, стихи и проза которого меня глубоко восхищали.

Я не мог заставить себя искать знакомства с ним без предложения, хотя бы самого прозрачного. К счастью, я был знаком с его сестрами, которые жили тогда <...> в Оксфорде, и одна из них попросила меня взять с собой пару башмаков для ее брата — поэта. Теперь у меня появился повод, и я был очень за него благодарен.

Стоял теплый солнечный день, какие бывают ранней осенью. Пастернак, его жена и Леонид, их сын, сидели за простым деревянным столом в маленьком садике на задворках дачи. Поэт радушно приветствовал нас. Марина Цветаева, с которой Пастернак дружил, сказала как-то, что он выглядит, как араб и его конь; у него было смуглое, меланхолическое, выразительное и очень породистое лицо, теперь знакомое всем по многочисленным фотографиям и портретам кисти его отца. Пастернак говорил медленно, своего рода монотонным низким тенором. Интонация его речи была плавной, ровной — нечто среднее между гудением и мычанием — и все, кто знали его, безошибочно отмечали эту манеру. Каждая гласная произносилась им протяжно, как будто на манер заунывных лирических арий из опер Чайковского, но с более концентрированной силой и напряжением. Я неловко протянул ему пакет, который держал при себе, объяснив, что это подарок от его сестры Лидии — пара башмаков. «Ну нет, нет, что же это, что это вы!» — сказал Пастернак, явно смущенный, как будто я предлагал ему благотворительное подношение. — Это какая-то ошибка, недоразумение. Это должно быть для моего брата». Мне тоже стало страшно неловко. Зинаида Николаевна попыталась исправить положение и спросила меня, оправляется ли Англия от последствий войны. Но прежде чем я смог ответить, Пастернак перебил меня: «Я был в Лондоне в тридцатых годах — в 1935 году — на обратном пути с антифашистского конгресса в Париже. Давайте я вам расскажу, как это было. Это было лето, и я был на даче. Вдруг приезжают ко мне двое, наверное, из НКВД, нет, пожалуй, мне помнится, из Союза писателей — тогда мы, должно быть, не так боялись таких визитов — и один из них говорит: «Борис Леонидович, в Париже происходит антифашистский конгресс. Вы приглашены в нем участвовать. Мы просим вас выехать завтра. Вы поедете через Берлин. Вы можете там пробыть несколько часов и встретиться с кем вам будет угодно. На следующий день вы приедете в Париж и вечером будете выступать на конгрессе». Я ответил, что у меня нет подходящего костюма для такой поездки. Они сказали, что позаботятся об этом. Они предложили мне визитку и брюки в полоску, белую рубашку с твердыми манжетами и стоячим воротничком — и ко всему этому великолепную пару черных лакированных башмаков, которые оказались мне прямо по ноге. Но я как-то ухитрился все-таки поехать в моей обычной одежде. Потом

Исайя Берлин — славист, профессор Оксфордского университета.

мне рассказали, что в самую последнюю минуту Андре Мальро, один из главных организаторов конгресса, настоял на том, чтобы меня пригласили. Он объяснил советским властям, что если меня и Бабеля не будет, то пойдут лишние толки и пересуды, так как мы были признаны на Западе, а в то время не было уж так много советских писателей, которых готовы были бы слушать европейские и американские либералы. И вот, хоть меня и не было в первоначальном списке советских делегатов — да и как я мог там быть, — они согласились».

Как и было договорено, он поехал через Берлин, где встретился с сестрой Жозефиной и ее мужем. Он сказал, что, когда приехал на конгресс, там было много знаменитых и важных людей — Драйзер, Жид, Мальро, Форстер, Арагон, Оден, Спендер, Розамунд Леман и другие знаменитости. «Я выступил. Я сказал: «Я понимаю, что это конгресс писателей, собравшихся, чтобы организовать сопротивление фашизму. Я могу вам сказать по этому поводу только одно. Не организуйтесь! Организуйтесь! — это смерть искусства. Важна только личная независимость. В 1789, 1848 и 1917 годах писателей не организовывали ни в защиту чего-либо, ни против чего-либо. Умоляю вас — не организовывайтесь!»

Мне показалось, что они страшно удивились. Но что еще мог я сказать? Я думал, что у меня будут неприятности дома после этого, но никто никогда не упомянул об этом — ни тогда, ни теперь». <...>

Пастернак спросил меня, читал ли я его прозу — и в особенности «Детство Люверс» — произведение, которое я очень люблю. Я ответил, что читал. «Я вижу по выражению вашего лица, — сказал он без всякого основания, — что вы считаете эти вещи искусственными, вымученными, натянутыми, ужасным модернизмом. — Нет, нет, не отрицайте этого, пожалуйста: вы так действительно считаете — и вы совершенно правы. Я сам стыжусь этих вещей — не стихов, а прозы. Она несет на себе отпечаток всего самого слабого и путаного, что было в модном тогда символизме с его мистическим хаосом — конечно, Андрей Белый был гений — в «Петербург» и «Котике Летаеве» много замечательного — я сам это знаю, можете мне об этом не говорить, — но его влияние было фатальным. — Джойс — другое дело. Все, что я тогда написал, — написано через силу, одержимо, изломано, искусственно, негодно; но сейчас я пишу совершенно по-другому: нечто новое, совсем новое, светлое, изящное, гармоничное, стройное, классически чистое и простое — как хотел Винкельман, да-да, и Гёте; и это будет мое последнее слово. мое самое важное слово миру. Это — то, да, это именно то, что я хочу, чтобы запомнилось, осталось после меня; я посвящаю этому весь остаток моей жизни».

Я не могу поручиться за точность всего этого разговора, но именно так мне запомнились и сами его слова, и его манера говорить. Этот замысел впоследствии вылился в «Доктора Живаго».

...Тебя вели нарезом по сердцу моему



Беседа
с Ольгой
Всеволодовной
ИВИНСКОЙ

— Мы познакомились с Борисом Леонидовичем в редакции «Нового мира» в конце сорок шестого года, и знакомство наше было каким-то стремительным вихрем любви. Сейчас я смотрю на себя со стороны, как на чужую уже мне женщину. В то время у меня было двое детей от двух браков. Первый мой муж покончил жизнь самоубийством. Моя мама в сороковом году была арестована. Она посмотрела картину «Ленин в Октябре» и сказала: «Это нельзя смотреть очевидцам, потому что не может Сталин все время ходить за Лениным и все ему подсказывать». Конечно, нашелся доносчик, и маму мою забрали. В сорок третьем я потеряла своего второго мужа. Когда он умер, мы остались без всяких средств. Шла война. Мы выкапывали картошку, которая оставалась на полях после колхозной уборки, я возилась с последней мужиных вещей, продавала молоко на базаре. И вот как-то раз, когда я в самом запредельном виде брела по улице Горького, я наткнулась на своего старого знакомого, редактора Гослитиздата Осипа Сергеевича Резника. Он ужаснулся: «Люсенька, это вы?! У вас высшее образование, почему вам не устроиться на нормальную работу? У меня есть возможность устроить вас в «Новый мир». И действительно, я туда пошла — и меня приняли. Открылась новая эпоха. Я стала заведующей отделом начинающих авторов. Все уладилось. Вернулась моя мама, я получила карточки. После ухода с поста главного редактора «Нового мира» Владимира Родиноновича Щербины в редакцию пришел Константин Михайлович Симонов. Он решил открыть один из номеров журнала «Литературной минуткой», для чего мы обзванивали всех известных писателей с просьбой вынуть из своих

II

Одной осенью 1947 года московская студентка, придя домой с концерта Владимира Софронидского, записывает в своем дневнике: «был Борис Леонидович с золотойрукой женщиной, похорошевшей с весны. Женщина была очень хорошенкая, уверенная в себе, очень кокетничала, хотела ему нравиться. Глядя сверху на ее золотистые волосы, я почувствовала неприязнь».

Эта запись невольно вступает в противоречие с впечатлениями самого Пастернака. В романе «Доктор Живаго» Юрий Андреевич, глядя на Мару, думает: «Ей не хочется нравиться, быть красивой, пленяющей. Она презирает эту сторону женской сущности и как бы казнит себя за то, что так хороша. И эта гордая враждебность к себе удесятеряет ее неострашимость». В том же году написано «Объяснение», вошедшее в тетрадь стихов Юрия Живаго:

*Сними ладонь с моей груди,
Мы проводя под током.
Друг к другу вновь того гляди,
Нас бросит неароком.*

Нет никакой загадки в том, к кому относятся приведенные строки и запись в дневнике. Это — Ольга Всеволодовна Ивинская, имя которой в силу стойких предубеждений до сих пор окружено домыслами и слухами, а то и неприкрытой враждебностью. Не теряя присущей ей благожелательности и откровенности, Ольга Всеволодовна рассказывает о прошлом.

Разговоры наши — не интервью, не беседы репортера со знаменитостью. Я пришел учиться жить, а не учиться писать. Пастернак задолго до нашей первой встречи был для меня больше, чем поэтом. Никакого вопроса не было во время наших встреч. В своих письмах я писал, спрашивал, и во время встреч Борис Леонидович на многое отвечал.

Мне было сорок шесть лет. Из них двадцать я пробыл в тюрьме и в ссылке.

Но все беседы наши больше касались общих вопросов искусства, чем лагеря, тюрьмы.

Борис Леонидович был «общий», и я это хорошо понимал. Но то, о чем мы говорили, имело важность прежде всего для меня, для моего собственного поведения.

Мне было легко и радостно узнавать, что по целому ряду вопросов мы держимся одинаковых взглядов. Так и должно было быть, иначе — что бы меня заставило желать личной встречи?

Я — тяжелодум, я всегда вспоминал дома самые сложные аргументы, которые не пришли в голову.

Б. П. — Где Пильняк? Вы не встречали такого, кто бы знал? Ничего не слышали?

— Нет, Пильняк умер.

Б. П. — Я знаю: «там» на меня тоже заведено дело. Дело Пастернака. Мне рассказывали. Но не арестовали... Сколько друзей... а я жил и живу... В день, когда Сталин умер, я написал Вам письмо — 5 марта — открытку, что перед смертью все равны. Я был в Переделкине, стоял у окна — увидел — несут траурные флаги и поют. Соседка моя два-три года назад сказала:

«Я верю, глубоко верю, что настает день, когда я увижу газету с траурной каймой». Мужество, не правда ли?

Шолохов — первая часть «Тихого Дона» великолепна. Сила, свежесть. Больше не написал ни строка. Очень далек от гуманизма, от человеколюбия. Человеческая жестокость — вот его подстрочная тема.

Я гляжу ему в лицо, в веселые его глаза и весело слушаю:
— Нынешний год был хорошим го-

Мемуары

Варлам ШАЛАМОВ

дом. Я написал две тысячи строк «Фауста». Заново перевел. Была уже вторая корректура, но захотелось кое-что изменить, и как из строящегося здания выбивают несколько подпорок — и все готовое рассыпается в прах и надо строить заново. Так мне пришлось писать этот перевод заново. Я очень спешил, радостно спешил. Я понимал Фауста так, ведь Гёте был ученый, естествоиспытатель и чертовщина Фауста не могла быть темой его поэтического одушевления. Не легенда народная, а реальная жизнь, напоминающая эту легенду, поэтический земной поток савозь маски Фауста — так надо было его понять и так переводить. Эта попытка мной и сделана, и новый перевод во многом отличен от того, что было напечатано.

Я. — Это первый полный «Фауст» на русском языке?

Пастернак. — Нет, не первый. «Фауста» переводили Фет, Холодковский. Но я не брал, не смотрел этих переводов, когда работал. Вот когда я переводил «Гамлета», я обложился переводами чужими, всеми, которые мне были только доступны и известны, и двигался от строки к строке, сверялся поминутно: «Фауста» я перевел без всяких вех, один... «Фауст» выйдет в ноябре, думаю.

Но этот год, пятьдесят третий год, был для меня не только годом переводческих удач. Я написал еще летом несколько стихотворений. Строго говоря, они еще не записаны. Хотите, я прочту?

— Еще бы.
Много лет назад в клубе I МГУ, в бывшей церкви Пастернак читал

столон все, что у них было написано. Ничего из этого не вышло, но секретарша, звонившая Пастернаку, зная о моем преклонении перед его поэзией, сказала: «Я вас познакомлю с вашим божеством».

Я полюбила его стихи с юности, но до знакомства видела его лишь издали. Однажды я попала в библиотеку, где Борис Леонидович читал куски из Шекспира, но когда все подошло к нему во время перерыва, я не сдвинулась с места. Другой раз — участвуя в литературном объединении «Смена», я вместе с другими была приглашена к грузинскому писателю Гамсахурдиа в гостиницу «Метрополь». Пошла я скрепя сердце, потому что были у меня плохие туфли. Был накрыт огромный стол. Были Смеляков, Павел Васильев, была Нина Ольшевская. И я все к ней обращалась: «Господи, уже поздно!» Она сердилась: «Пожалуйста, идите, если вам поздно». Но когда в два часа ночи позвонил Борис Леонидович и сказал, что сейчас он приедет, я убежала. Я не хотела встречи с живым человеком, потому что для меня это было божество.

Когда Борис Леонидович пришел в редакцию, я сидела ни жива ни мертва. Секретарша тут же сообщила: «Это ваша поклонница». «Неужели у меня есть поклонники?» — сказал Борис Леонидович кокетливо. А пришел он в самой нелепой одежде. Время было осеннее, я сидела в шубе, а он в белом плаще. Он подошел ко мне, поцеловал мне руку, спросил, есть ли у меня его книги. Я ответила «нет» (а на самом деле была одна). «Я пощусь, — пообещал он. — Правда, книги разошлись. Да меня и не издают. И вообще я, кажется, не поэт даже». Вот с такой музыки начался наш роман.

Я обрадовалась, когда он ушел. А на второй день он пришел в редакцию и не застал меня. Я прихожу к заседаниям — лежит большой пакет, а в нем пять его книг. И вдруг звонок по телефону: «Если вы разрешите, если вы свободны, то я вас приду проводить».

В это время он переводил Петефи, который совпал с его настроением: любовь — это убийство, когда убийца высккивает из-за угла. Борис Леонидович сказал: «Это будет посвящено тебе». К моему величайшему счастью, у меня остались две книги. Сначала он написал: «Слово «Петефи» было условным знаком в мае и июне 1947 года, а

«Второе рождение». На ступнях сидели актеры, музыканты, ученые — чуть ли не каждый мог обречь публику на собственный вечер. Здесь все они были зрителями, слушателями, искателями истины. Где-то в толпе, забившись в самый безвестный угол, сидел и я, ловя каждое слово. Стихи читают по-разному. Есть манера Блюка, равномерная, энергично отрубаящая строку за строкой. Есть напевное чтение Северянина и Есенина. Есть ораторское чтение Маяковского. Пастернак читал стихи, как прозу, ритмизованную прозу. Получается теплее, проще, задушевнее. Тогда в университете Пастернак прочел прощения, что не умеет читать стихи.

«Второе рождение» Пастернак читал по книжке, постоянно справляясь с текстом, не отводя от глаз маленькую книжечку.

— Не пропускайте, читайте все. Вы не прочли «Опыт Шопен не ищет выход».

— Сегодня мне не хочется читать это стихотворение.

Начались «ответы на записки», любимая московская потеха. Для этих ответов такой характер, как Маяковский, заготовлял и вопросы и ответы заранее. Это называлось — домашняя подготовка. Кто лучше состроит, тот и прав. Кто лучше обхамил литературного противника — тот и победитель. Но с Пастернаком дело обстояло совсем не так. Он развертывал и читал вслух подряд все записки, которые передавались на эстраду, и сразу отвечал со всей серьезностью, без тени улыбки, боясь только одного: как бы не солгать, не покривить душой при ответе ради «красного словца».

Помню — был вопрос явно провокационный: «Какую пользу принесет литературе постановление о роспуске РАШПа?» Борис Леонидович провел рукой по виску — был он тогда почти не седой — и ответил: «Литература живет по своим законам, и после постановления снег не будет идти снизу вверх».

Много говорил тогда Пастернак о том, что он не будет больше писать стихов: будет писать только прозу...

Было все это в тридцать третьем году или в конце тридцать второго — двадцать, стало быть, лет назад.

А

близкие переводы мои его лирики, это изображение мыслей и чувств к тебе и о тебе, приближенные к требованиям текста. На память обо всем этом. *Б. П.* 13 мая 1948 г.». И через десять лет: «Петефи очень хорош в своей изобразительной лирике, в картинах природы, но ты еще лучше. Я много занимался им в 47 или 48 году, когда узнал тебя. Спасибо тебе за помощь. Я переводил вас обоих. Твой *Б.* 26 окт. 1959».

Передо мной справка: «Определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РСФСР от 31 октября 1988 года постановление особого совещания при МГБ СССР от 29 июля 1950 года в отношении Ивинской Ольги Всеволодовны отменено, и дело производством прекращено за отсутствием в ее действиях состава преступления. Гр-ка Ивинская О. В. по настоящему делу реабилитирована».

В 1949 году Ольга Всеволодовна Ивинская была арестована. Год длился следствие. На Лубянке она удостоилась особой чести: ее допрашивал сам министр госбезопасности Абакумов. Она сидела в одной камере с внучкой Троцкого Сашей Моглиной. До сих пор ходят всякие слухи: дело «Огонька», дело Осипова.

— Вот что я могу сказать по этому поводу злопыхателям. Меня осудило ОСО, «тройка». «Тройка» судит только политических заключенных. Если считать, что я была замешана в историю с Осиповым, то это смешно. Я была в числе девяноста человек, которые когда-то за сделанную им работу получили вместо него деньги и отдали ему. Это не могло служить никаким обвинением. Мне это и не предъявляли. Без всякого суда мне дали пять лет лагерей общего режима по статье 58-10. При обыске у меня забрали только книги Бориса Леонидовича — они особо охотились за книгами с его надписями. Я сидела в Мордовии, в 17-м лагпункте вместе с Ниной Ивановной Гоген-Торн, с Шатерниковой, с Надеждой Адольф (Надеждиной), с Аллой, женой Даниила Андреева.

В лагерь доходили письма только от родных, поэтому Борис Леонидович писал мне, подписываясь «мама».

«31 мая 1951 г. Дорогая моя Олюша, прелесть моя! Ты совершенно права, что недовольна нами. Наши письма к тебе должны были прямо из души из-



Б. Л. ПАСТЕРНАК с Ольгой Всеволодовной ИВИНСКОЙ и ее дочерью Ириной Санаторий «Узкое». 1957 г.

*Все тесней кольцо облавы.
И другому я виной —
Нет руки со мною правой —
Друга сердца нет со мной.*

*Я б хотел, с петлей у горла,
В час, когда так смерть близка,
Чтобы слезы мне утерла
Правая моя рука.*

Мы получили срок как за контрабанду, хотя валюты и в глаза не видели. Сначала нас направили в тайшетские лагеря, и мы с Ирой проделали длинный путь, пока не остановились в Свердловске. До сих пор мы все эти города знаем по тюрьмам, по нездоровым каким-то боксам. Пробыли мы там всего полтора месяца, а затем совершили длинный путь обратно в те же самые мордовские лагеря. После первой реабилитации я почти сразу была реабилитирована и по этому делу с той же самой формулировкой: дело прекращено за отсутствием состава преступления.

В преддверии столетнего юбилея Бориса Пастернака многие телекомпании мира, снимая передачи о нем, не обходили своим вниманием и Ольгу Всеволодовну Ивинскую. Итальянцев, на родине которых так популярен роман «Доктор Живаго», весьма занимал вопрос: Ольга Всеволодовна — вы Лара! Ответ был всегда утвердительным. В некоторых зарубежных изданиях, посвященных Борису Пастернаку, под фотографией Ольги Всеволодовны стоит краткое — Лара. И в письме Бориса Пастернака от 7 мая 1958 года, обращенном к Ренате Швейцер, есть для этого основания: «Во втором послевоенном времени я познакомился с молодой женщиной — Ольгой Всеволодовной Ивинской... Она и есть Лара моего произведения, которое я именно в это время начал писать... Она олицетворение жизнерадостности и самопожертвования. По ней незаметно, что она в жизни [уже до этого] перенесла. Она и пишет стихи, и переводит по подстрочникам, как это делают некоторые из нас, кто не знает европейских языков. Она посвящена в мою духовную жизнь и во все мои писательские дела...» Наши исследователи обходят этот, с их точки зрения, весьма спорный вопрос, иногда попросту забывая об этой женщине. Приходится утешать себя афоризмом: время — честный человек, и оно все расставит по своим местам. Хорошо, что журнал «Вильнюс» уже печатает книгу воспоминаний Ольги Ивинской «В плену времени. Годы с Борисом Пастернаком».

— Я написала ее почти пятнадцать лет назад, и она вышла на многих языках. В прошлом году издательство «Советский писатель» заключило со мной договор, и я надеюсь, что книга выйдет теперь и здесь. Борис Леонидович говорил мне: «Ты должна написать кратко, сжато, все, что было». И я, хорошо или плохо, выполнила свой долг перед ним. Ни его розовой краской я не старалась выкрасить, ни себя. Свои ошибки и свою вину я добросовестно изложила. Кое-кому хотелось бы сейчас вычеркнуть меня из биографии Пастернака, но я была с ним начиная с сорок шестого года и кончая его смертью.

После смерти Бориса Леонидовича я написала стихи:

*И скажу я себе, вздыхая,
В беспощадном сверканьи дня:
Пусть я грешная, пусть плохая,
Ну а ты ведь любил меня!*

Моя жизнь есть моя жизнь, и ни одной страницы я никому не отдам. Пусть мне завидуют.

*Из романа «Доктор Живаго»:
«О! какая это была любовь, вольная,
небывалая, ни на что не похожая! Они думали, как другие напевают.*

Они любили друг друга не из неизбежности, не «копаленные страстью», как это ложно изображают. Они любили друг друга потому, что так хотели все кругом: земля под ними, небо над их головами, облака и деревья. Их любовь нравилась окружающим еще, может быть, больше, чем им самим.

На обстоятельной выставке «Мир Пастернака», открытой в Москве к юбилею поэта, нет ни фотографии, ни даже упоминания об Ольге Всеволодовне Ивинской.

Записала В. НЕКЛУДОВА

Лев ОЗЕРОВ

...Хочу поведать о последней своей встрече с Пастернаком 29 января 1960 года. Борис Леонидович был дома один. Я пришел в послеобеденное время, когда сияние снега еще ярко озаряло дом. Беседа шла о многочисленных предметах. Это было на первом этаже у рояля. Мы оба стояли. Пастернак был в напряжении. Никогда не видел его в таком напряжении. Если бы я не знал, как он добр, я подумал бы, что он в раздражении и гневе. Он говорил мне, что не успел написать главные свои сочинения, много сил отдал переводам. Я услышал отголоски гигантского сражения, протекавшего в душе Пастернака все эти годы. «С кем протекли его боренья? С самим собой, с самим собой». Только ли с собой?

Этот гневный, возвышенный, глубоко опечаленный событиями внешней и внутренней жизни Пастернак шестидесятого года и тот порывистый, обнадеженный, пылкий, озаренный световым ливнем Пастернак тридцать второго года. На сравнении этих двух портретов можно понять (понять ли?) протекшее время. Двадцать восемь лет, равных по меньшей мере полустолетию. Это был монолог. Я его слушал затанув дыханием. И смогу ли я глубокими своими словами передать драматизм дня этой встречи? Пастернак стоял, скрестив на груди руки. Я снова любовался кистями этих рук, так точно и поэтично воссозданных Ладой Гудиашивили.

Ничто не предвещало близкой кончины поэта — через четыре месяца. Напротив, я чувствовал, что Пастернак обуреваем новыми работами и хочет преодолеть губительное пространство нетворческого промежутка.

— Я сейчас занят пьесой в прозе. Из истории России прошлого века. В

духе шекспировских хроник. Хотелось бы только это и писать.

Уже смеркалось, когда оставив меня одного в нижнем коридорчике, Пастернак по винтовой лестнице поднялся в свою рабочую комнату. Я долго ждал его. В сумерках, в темноте, стояла значительная тишина. Потом снова услышал его шаги вниз по лестнице. Он протянул мне давнюю книгу «На ранних поездах» с надписью — для этого он и поднимался наверх.

В сумерках, не зажигая света, он сказал мне:

— Я сейчас думаю, в продолжение давнишних мыслей, что наша литература, вначале получившая мощный толчок гением Белого, ринулась вперед. Скольких он благословил и напутствовал. И всех оплодотворил. А потом? — пауза, — а потом началась взаимная подозрительность, усиливаемая и поощряемая посредственностями, их ложью и фальшью. А потом началось не кончившееся доньне топтание на месте, по существу попятное движение...

Он сурово замолчал. Андрей Белый был его любимой воспаленной темой. Чувствовалась боль его. После паузы он вдруг заговорил о другом:

— Можно ли просить вас вот о чем? Не поздравляйте меня с днем рождения десятого февраля. Я прошу вас. Знаю, что вы обо мне думаете чаще, чем только в этот день, может быть, каждый день, надеюсь, думаете не уничижительно. Я это знаю, всегда знал.

Не ручаюсь за порядок произнесенных слов, но смысл их передан верно.

Мемуары

ливаться потоками нежности и печали. Но не всегда можно себе позволить это естественнейшее движение. Во все это замешивается оглядка и забота. Б. на днях видел тебя во сне всю в длинном и белом. Он куда-то все поспал и оказывался в разных положениях и ты каждый раз возникала рядом справа, легкая и обнадеживающая. Он решил, что это к выздоровлению, — шея все его мучит. Он послал тебе однажды большое письмо и стихи, кроме того я тебе послала как-то несколько книжек. Видимо, все это пропало. Бог с тобой, родная моя. Все это как сон. Целую тебя без конца.

Твоя мама.

Подарком в лагере были его стихи. Однажды меня вызвали и дали прочесть. Я расписалась, что их прочла. Среди них были «Разлука» и «Свидание». Эти стихи написаны, когда меня не было рядом. Ему казалось, что я вхожу на дачу, что я стою на углу. Он по-своему остался верен и мне, и семье. Мои дети выжили благодаря ему. И сейчас моя дочь Ирина Емельянова, которая живет в Париже и преподает в Сорбонне, написала свои воспоминания о Борисе Леонидовиче. Они скоро появятся в журнале «Наше наследие». В романе «Доктор Живаго» нетрудно увидеть в облике Катеньки, дочери Лары, детские черты Ирины.

Второй арест был через два месяца после смерти Бориса Леонидовича. Меня арестовали в августе шестидесятого года. Мне было предъявлено обвинение: общение с иностранцами, передача романа за границу (были даже попытки обвинить меня в том, что я этот роман написала), а главное — получение гонораров, часть которых шла через меня. Спустя некоторое время была арестована и Ира, моя дочь. Наш арест был связан с тем, что КГБ охотилось за письмами, которые хранились у меня. Это был огромный архив. До шестидесяти писем приходило Борису Леонидовичу в дни его травли после присуждения ему Нобелевской премии с выражением сочувствия, любви, солидарности, и все это хранилось у меня. Все дела его вела я. Борис Леонидович доверял мне, называл своей правой рукой:

Беседу ведет
Мазель ФЕЙНБЕРГ

Анастасия Цветаева

РАССКАЗЫВАЕТ...

М. Ф. Анастасия Ивановна, когда вы познакомились с Пастернаком?

А. Ц. Марина, уезжая к мужу в Чехию, говорила мне: «Ася, о Павлике я тебе рассказала, Есенин, конечно, талантлив, но он на одной струне. Есть только один человек в России, один поэт, о котором не сказала тебе, я заметила его, я слышала его выступления, он и его стихи — замечательны, и он их прекрасно читает. Лицом он похож на Пушкина, ростом — выше. Вот его ты посмотри и послушай. Это Борис Пастернак». Сказала это она в начале лета 1922 года. Впервые я Бориса увидела в 1923 году. Он вошел ко мне с томиком Марининых стихов «Ремесло» — серенькой, скромной книжкой, долгие годы бывшей моей любимой.

Марина из Чехии Борису Пастернаку в Берлин передала для меня этот сборник. Борис был, помнится, в сером пальто, и из этого тускло-серебряного одеяния из-под темно-каштанового оперения на меня глядели светло-каштановые глаза собачьим выражением преданности. Обласкивая, вглядывая, приглядываясь, познавая и проверяя («Понимаю, — сказала я себе, — проверяет сходство с Мариной»). Но он уже смеялся во всю пасть собачью, радостно, громко. Но смех Бориса — это другая тема.

М. Ф. Вы часто виделись?

А. Ц. Виделись мы, Мазлечка, с Борисом по-разному: то часто, то редко. Дни и его и мои были заняты, но родность наша, как его с Мариной, с первой встречи была так глубока, так органична, что и ко мне он, и я к нему входили, как домой, точно мы некогда родились в одном доме — дети одной семьи, все было понятно без утверждения словом, взгляд (радостно — понял!), неуловимое движение лица (что-то услышав), веселый кивок навстречу сказанному, внезапное пожатие руки, его рука на моей, сгребшая мою, сверху, как бы в охапку, в знак братского понимания, которому немые — слова. Тот тихий восторг родственности, из которого, может быть, и рождалась речь неудержная, исповеднически вскрывающая какой-то кусочек недр, и все глубже по лестнице вниз в тайники нескazanности, быть может, с детства молчавшей и вдруг вырвавшейся водопадом признаний. По лесенке вверх, как по нашей Трехпрудной лесенке, из темнот «черного хода» сознания — в широту и свет верхних распахнутых комнат, где дышит уже вольно, празднично предчувствием рождественских елочных украшений жизни, общности всего и навек, где царствует опять переход к молчанию...

Жил Борис тогда прямо рядом с папиным Музеем (Изящных, Изобразительных искусств), на Волхонке 14, во втором этаже, думается, двухэтажного дома. Высокие потолки, высокие окна, никакого воспоминания «обстановки». Но жили в этих комнатах большой письменный стол (его — помню), далеко отступив от окна — рояль (его — тоже) и, наверное, был и стол, где мы пили чай.

М. Ф. Анастасия Ивановна, в 25-м году вы подарили Пастернаку стихи Рильке «Песнь о любви и смерти корнета Кристофа Рильке», изданные 1899 года [эта книга сохранилась у Пастернака], с тремя надписями. С дарственной: «Борису Пастернаку (его — Марининого — моего Rilke) из Марининых книг [за Марину]. [И все-таки надо переставать любить Rilke, и Пастернака, и Марину, и себя.] А. Ц. 1925, Москва».

Вторая надпись:

«Но можно ли, Борис, так говорить о смерти! М. Б., это все же не победа над ней, а только самая вершина игры с ней, которая дана человеку и ей, которой он пойман [ее игрой], меня ее не игрой! Подумайте об этом за себя, Rilke и нас с Мариной. А. Ц.»

И последняя. Вы написали стихотворение М. Цветаевой: «Над спальным юнцом золотые шпоры...»

Вы не помните, как это было! Отзвуком каких разговоров были эти надписи?

А. Ц. Нет, Мазлечка, не помню. Я помню, что послала Борису книгу Бернгарда Келлермана «Туннель». Я прочла ее по-немецки и так плакала над ней, а ведь я не плаксива. Позвонила Борису: «Хочу вам ее послать». Через несколько дней он мне позвонил и сказал: «Разливался рекой».

М. Ф. Анастасия Ивановна, вам Пастернак посвятил в первом отдельном издании 1929 года поэму «Высокая болезнь». Почему именно эту поэму о современных событиях, которую он начал писать еще в 1923 году?

А. Ц. Не помню, в каком году он прочел мне ее. Тою тональностью, которой дышала эпоха. Великолепным своим голосом, в котором гудели провоза тех лет, накалом трагедии, в которой билась страна. Тем, что позднее назвал Павел Антокольский «током высокого напряжения». Что-то во мне отозвалось Борису, и он посвятил мне свою «Высокую болезнь». В первом издании. В следующих это посвящение повторено не было. Почему? Может быть, позабыл. Кто знает? Что заставило Марину снять в «Красном коне» жаркое посвящение Евгению Ланну и — что еще более странно — посвятить ее Анне Ахматовой? Этого я не знаю.

М. Ф. Вы не виделись с Пастернаком больше двадцати лет, с 1937-го, когда вас арестовали, и до 1959-го. Он писал вам?

А. Ц. До 1945 года мне в лагерь писала только сестра мужа Марины — Елизавета Яковлевна Эфрон, и я никому не писала. Борис начал мне писать после капитуляции Германии и после Хиросимы — и тогда я отозвалась. Я написала ему, что чувствую, что никогда уже писать не буду. Вот на это, отозвавшись без промедленья, он ответил мне письмом утешенья — о том, что такое, по его опыту, процесс творчест-

ва (увы, письмо мною утрачено — но не так прочно, как многое утраченное еще в Москве, у меня еще есть надежда его получить, чтобы обнародовать). Оно случайно, как множество моих писем, задержалось у моей племянницы, у Али Эфрон, и после ее скоростной смерти от инфаркта в больнице в Тарусе с другими ее бумагами и письмами попало по уже ею сделанному завещанию в ее закрытый фонд в ЦГАЛИ.

Это письмо очень помогло мне тогда. Пастернак мне писал, что чувство, меня на годы обнявшее, он испытывает каждый раз, когда, что-то закончив, перестает писать. Сомнение в своих возможностях, ощущение, что талант смолк, органично писателю, но что (пишу его мысль своими словами, утратив его слова за 45 лет, но точно зная их смысл) лист бумаги, перо в руке, тишина в комнате — и наедине с собой творчество продолжается, что я буду писать, у него нет в том сомненья (и он оказался прав — я начала писать в первую же весну, 1957 года, поселясь у сына в городе Павлодаре, сев у окошка в палисадник хозяйки, где расцвели — нет, ягодами, кистями ягод стояли круглые кусты бузины). Я начала мой первый том «Воспоминаний» с первых воспоминаний детства, все сначала, точно в первый раз взяв перо, проникаясь с каждой строкой так называемым искусством пера, которое есть простое доверие данному тебе дару, прислушивание к тому, как рождается и сплетается себе подобными — словами — неизбежно — этот узор данной темы, от которой невозможно уйти вбок, путь один — даже если он идет неожиданным поворотом, заворотом тем. Перо следует внутреннему приказу, а приказ идет из тех сфер, где способностям человека сопутствует что-то доброжелательство, если только нет в человеке самоуверченность (тогда человек пропадает, все глубже с каждой строкой).

Я писала и отсылала начатое — з копий — Пастернаку, и он ответил мне удивительным письмом. В мои сибирские годы Борис писал мне, а когда был очень уж занят — мне писала за него Зина, жена его, неизменно добрая ко мне. Борис помогал мне, слал деньги, и ни он, ни я не знали, когда мы увидимся и увидимся ли. В эти годы я получила от него письмо, после продолжительного молчания, о том, что у него был инфаркт, он был при смерти, и как это было прекрасно, в промежутке меж более и даже и через боль, сознать, что ты жил, долго жил и вот теперь умираешь, и как он благодарил Творца за жизнь, какой это восторг — итог жизни с верой и осмысленностью жизни.

М. Ф. Как произошла ваша встреча после такой долгой разлуки!

А. Ц. Был июнь 1959 года. Я приехала для реабилитации из Павлодара в

Москву, остановилась у друзей моих Софьи Исааковны и Юдифь Матвеевны Каганов и собиралась увидеться с Пастернаком. Ему, да и мне, было удобнее назначить встречу не в Переделкине, а в Москве, и была она 29 июня у Ольги Всеволодовны Ивинской.

Мы с Борисом встретились на ходу в чем-то вроде коридора или передней, обнялись, и я услышала знакомый густой звук его слов — его первого впечатления.

— Цветаевский голос, — сказал он приветственно-радостно.

Две вещи меня поразили в Борисе — его молодость и белизна его волос.

За столом Борис рассказывал о своих последних годах, когда болел непонятной врачам болезнью, и в манере его рассказа — «с птичьего полета», полушутливо — был широкий размах иронии, говорящей о серьезном, а я слушала и глядела на его седую — белую! — голову — вместо той, 22 года назад, каштановой и старалась постичь, что сейчас в нем под этой шуткой, которой он всех нас, незнакомых, умело и весело единит, точно иначе и нельзя говорить о жизни, и все мы с этим, конечно, согласны. И, мучась уже над ним, я вновь и вновь понимала, как нелегко его путь, его соотношения с людьми — все эти тропинки общенья, долженствующие облегчить встречу. Я не помню момента прощания с Борисом, ни он, ни я не ощущали, что это прощание настоящее. Но он сходил, помнится, с лестницы! И я глядела вслед. Через 11 месяцев его не стало.

М. Ф. Вы были на похоронах?

А. Ц. Нет, я должна была возвращаться в Павлодар, но 31 мая я была в Переделкине, куда ехало множество народу, услышавших о смерти Бориса Пастернака. Мы — я была с Каганями — подходили к дому, когда навстречу нам вышел Шура Пастернак, младший его брат — Александр Леонидович. Он узнал меня, хоть мы не виделись с ним, вероятно, с 1937 года.

Борис лежал, помнится, на узком диване, в темном. Седые волосы его лили свет на спокойное, успокоившееся лицо с никогда дотол не виденными, без взгляда глазами, и в опущенных веках был мир. Нельзя было наглядеться на это лицо, в котором было — несмотря на покой — столько выражений, как будто оно еще продолжало жить. Не было в нем следов страдания. Оно было, все помнят, совершенный покой.

М. Ф. Анастасия Ивановна, какая основная черта была, как вам кажется, в характере Пастернака?

А. Ц. Невероятная непосредственность была его основной чертой. Безудержность выразить себя, какое-то свое чувство, и полное отсутствие игры и позы. Он не поддавался никакому испытанию. Он был таким, каким человек был задуман.

Б. ПАСТЕРНАК — А. ЦВЕТАЕВОЙ
22 сентября 1958 года
Ася, душечка, bravo, bravo! Только что получил и только что прочел продолжение, читал и плакал. Каким языком сердца все это написано, как это



Фотография, подаренная А. И. Цветаевой с дарственной надписью:

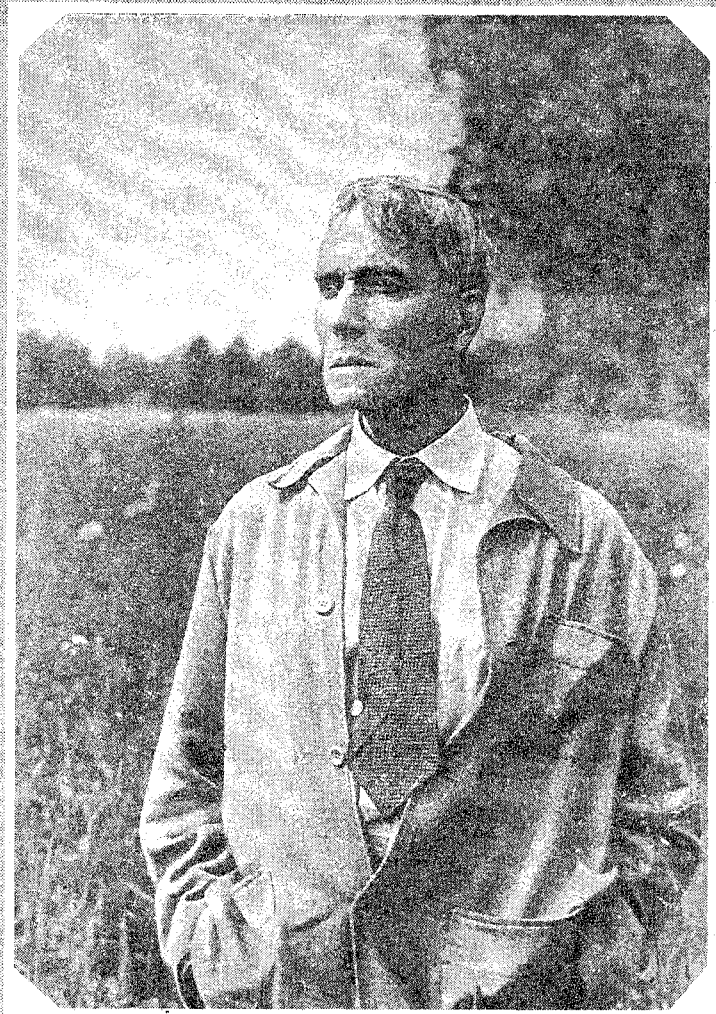
Борисов! Ася Цветаева на память о небрежном: о ней мы встретили 29 июня, 1959 года, после десятилетнего разлуки. Б. П.

дышит почти восстановленным жаром тех дней! Как бы высоко я Вас ни ставил, как бы ни любил, я совсем не ждал дальше такой сжатости и силы. беру назад свои предостережения, относившиеся к первой странице. Я боюсь, как это часто встречается даже у хороших авторов, что Вы не все будете писать с действительной, вызванной в памяти натурой. Часто писатель приводит что-нибудь одно, наблюденное или запомнившееся и потому живое, а дальше наизывает словесные дополнения сходного и вероятного к этому единственно истинному и нужному или же без конца разлагает уже упомянутое и сказанное на его составные части. Вы не подвержены этой слабости. Вам не надо было делать этих замечаний, простите, простите. Ваш слог обладает властью творения, — я забываю, что этих матерей и коммат и девочек уже нет, они заново повторяют свой обреченный выход, заново живут и заново уходят и нет слез, достаточных, чтобы оплакать их исчезновение и конец. Какие драгоценные пропавшиеклады. (Как Вы пишете о писателе приводит что-нибудь эта способность в Вас, дочери, стать в положение матери, — это потрясающе, Ася!) И сколько общего, — обстановка, матери-музыкантки, Поленов, Рубинштейн, и когда вспомнишь, что было потом и чем окончилось, какое похоронное рыдание, какой черный траур, надетый на всю жизнь. И как непонятно, что изо всего этого уцелел живым только я и за что мне непомерная теплота последнего года, вся эта, им и общему прошлому задолженная растроганность. Нет, мне трудно все это выразить достаточно складно, чтобы Вы поняли, Вы многого не знаете. Ася. Пишите так дальше, это поразительные воспоминания. Позор, что я до сих пор не нашел возможности перевести Вам немного денег, но я еще заглажу этот стыд. <...>

1 Приписка: А елки! Я опять испытал это ослепление и втянул этот запах!
2 Конец письма утерян.



Альбом



● 1958 г.
 ● Л. Бернстайн, Б. Пастернак

● Б. Пастернак с сыном
 Лейей. 1939 г.
 ● 50-е гг.

А



В

Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.

До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.

Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открыта.

О, если бы я только мог
Хоть огчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.

О беззаконьях, о грехах,
Бегах, пылках,
Несимпатиях зловещих,
Ловлях, ладонях.

Я писал бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.

Я б разбивал стихи, как сад,
Всех дрожью жилая
Цели бы лавы в них подрод,
Грешкам, в загибок.

В стихи б и мне дыхание роз,
Дыхание мяги,
Лука, осок, сероког,
Грозит расхаты.

Так некогда Шопен алгоил
Жите чудо
Фальсификов, парков, ром, могол
В свои эгиды.

Достигнутого сорасстали
Игра и жила —
Взглянула тетива
Тугого лука.

2.

Ты выводы копишь полвека,
Но их не заносишь в тетрадь...

— писал Пастернак в 1956 году. И действительно не вел ни дневников, ни записных книжек и тетрадей, как полагается писателю. В последние годы он объяснял это тем, что мысли у него сразу по возникновении облекаются в образную форму и требуют художественного выражения, а не дневниковой записи. В «Замечаниях к переводам из Шекспира» Пастернак называет метафоризм скорописью духа, а в предлагаемых заметках пишет об «эстетичности» мысли Шекспира в самом своем зарождении. Наблюдения над шекспировским текстом приводили Пастернака к выводам, известным по собственному опыту.

Предлагаемая подборка составлена из случайно уцелевших записей, представляющих собою особый интерес как исключение из правила. Это, во-первых, записки из разных альбомов, которые вел А. Е. Крученых, стремившийся зафиксировать текстом свои встречи. «Я страшно туп, — записал в один из своих приходов Пастернак. — Когда, Алеша, ты мне подсовываешь бумажку, я никогда не бываю способен выразить на ней всего того, что чувствую по отношению к тебе или тем общим друзьям, о которых заходит речь» (18 марта 1945 года). Альбомы Крученых находятся в ЦГАЛИ.

В семейном собрании сохранились «Заметки о Шекспире», писавшиеся в 1940—1942 годах одновременно с переводами «Гамлета», «Ромео и Джульетты» и чтением книг о Шекспире и его времени. Это считая из больших листов пожелтевшей бумаги тетрадь, в которой находятся также наброски прозы, конспект книги В. Гюго «О Шекспире», подготовительные записки к вечеру о Шекспире в Чистополе. Многие из «Заметок о Шекспире» прямо ведут к мыслям, сформулированным в 1946 году в статье «Замечания к переводам из Шекспира». Когда тетрадь стала не нужна автору, она была засунута им в щель в стене дома в Переделькине, чтобы не дуло. Оттуда я ее и вытаскил и унес домой.

Особый интерес представляют параллели между Шекспиром и Маяковским, сближения, зародившиеся еще при знакомстве Пастернака и Маяковского в 1910-х годах. «Для меня несомненно, что Маяковский читал и учился у Шекспира», — записал А. Гладков свой разговор с Пастернаком в 1942 году. «Я нашел в тексте «Ромео и Джульетты», — говорил Пастернак, — много почти дословных сходств с образной системой Маяковского (в том числе даже любовную лодку), натолкнувшись на быт, — финальные реплики Ромео). Здесь сходство настолько близко, что мне пришлось даже его уничтожить, чтобы оно не бросилось в глаза».

«Пора разбить потрепанный корабль с разбега о береговые скалы» — так перевел Пастернак эти слова. А в тетради он выписал у Шекспира, кроме названного места, еще и предсмертные слова Меркуцио: «Для этого света я переперчен, дело ясное».

Записки из «Фронтального дневника» делались во время поездки в армию в сентябре 1943 года и частично использованы в военных очерках Пастернака.

Интересны несколько записей, сохранившихся в маленькой записной книжке, с подсчетом строк в переводах и телефонными номерами. Это заготовки для статьи о Фаусте, которую Пастернаку не пришлось написать.

В заключение подборки приводятся отрывки из черновых рукописей романа «Доктор Живаго» и записи рабочих планов его второй части.

Вступительная заметка и публикация
Е. Б. ПАСТЕРНАКА

Записки разных лет

ИЗ АЛЬБОМОВ А. КРУЧЕНЫХ

Ловец на слове А. Крученых заставляет записать случайное воспоминание. В 1915 году летом одному моему другу, тогда меня не знавшему и замышлявшему самоубийство молодому поэту, встретив его в покойничкой у тела художника Мак-симовича и разгадав в нем кандидата в самоубийцы, сестры Синяковы сказали:

«Бросьте эти штучки! Принимайте ежедневно по пяти капель Пастернака».

Так Петровский познакомился со мной и с Синяковыми.

27 марта 26

Когда Маяковского в Париже спросили: «Ну, а как Пастернак?..» — он ответил: «Провожал меня».

Полутно свидетельствую (из того же источника), что поэма «Хорошо» произвела там на слушателей потрясающее и неизгладимое впечатление, как это бывало с первоначальными вещами Маяковского, и представители лезейшего крыла эмиграции (евразийцы) были счастливы позвать руку этому первому мировому пролетарскому гению (собственные слова одного из них, до меня дошедшие). Чувства последнего разделяю, — с вечною расстройкой, для чувств к Маяковскому неизбежной.

1928

Надпись на фотографии Н. Асева:

Замечательная фотография, достань и подари мне, Алеша. Отчего эта вечная натянутость между мной и Колей? Он так много сделал для меня, что, может быть, даже меня и создал, — и теперь с основанием в этом раскаивается. Как же сожалю обо всем этом я сам! Но все это совершенные пустяки в наше время нескольких сытых (в том числе и меня) среди поголовного голода. Перед этим стыдом все бледнеет. Оттенков за этим контрастом я уже никаких не вижу, а Коля их различает.

13 декабря 1932. Москва

Рад подтвердить на страницах твоего альбома, Алеша, что никогда книг с фотографиями Маяковского не продавал и, наверное, никогда не дойду до этого.

7 апреля 1939

13-го числа марта месяца стоял рядом с Крученых, душа которого бессмертна, как у каждого из нас, и удивлялся глупостям, которые он мне предлагал сделать.

1940 год

ЗАМЕТКИ О ШЕКСПИРЕ

С одной стороны метафоризм, по смелости трансцендентальный, с другой эпитеты вроде такая долгая жизнь, это и т. д. Вовлечение текущей жизни. Это возможно при радости, получаемой от жизни в самом ее течении, и без этой радости немислимо...

Корнель, Расин были богаче Шекспира, жили легче, ели слаще, получали знаки отличия от Людовика, но не знали этой радости, потому что радость возе

не складывается из суммы действительных или в фикции поглощенных благ. Радость есть высший дар, радость — выражение свободы и преддверье бессмертия.

Эпитетов такой и этот (указательным пальцем) не может быть в таком количестве у Корнеля и Расина, потому что они вынуждены подавать вместо действительности благоугодный повелителю сон в дворцовом разрезе, потому что их задача лгать... потому что ложноклассицизм скорее не в том, что это классицизм, неправильно приложенный, а в том, что это ложность, благодаря силе Людовиковой армии возведенная в степень классической стройности.

Пантомима, предшествующая представлению с разговором, в точности повторяющим ее... соответствует нынешней театральной программе с кратким изложением содержания. Но кто заглянет в программу, кто нет. Между тем как идущую на сцене пантомиму видит все. Текст элиминирован. Ознакомление с существом, сюжетом пьесы идет не ценою текста, когда половина его пропадает. Но когда знакомство с содержанием уже налицо (как в греческой трагедии, где мифы были общеизвестны в той же степени, как церковные праздники бывшим богомолкам; сюда же производность «Шекспировской сюжетики»), — тогда текст осваивается от прикладных и побочных своих назначений.

Я сразу спугал * карту будня,
Плеснувши краску из стакана.
Я показал на блюде студия
Косые скулы океана,

— шекспировское, потому что 1) живопись, 2) связанность рифмовкой предмета в звукообразе. Тут нет еще ничего последующего, байронически водянистого, проституционного от желания нравиться многим (при безлюбьи). Тут еще большая страсть к краске, желанье нравиться студию, узость и людскость,

За сколько перегонов до въезда в эстетическое жилище едущая у Шекспира мысль, идея, фабула или жизнь может быть застигнута в ее безыскусственной форме? Она эстетична в самом зарождении. Туманности, из которых образовались эти малиновые миры, эти клубы дыма, освещены бенгальским огнем.

Предельная завершенность результатов, вероятно, оттого, что предельная подержанность миру образов всего пережитого в первоисточнике. Предельная художественность сырья. В этом случае безмолвие без мыслей было тем, что в других собранность наброска.

Под образностью мы привыкли понимать иллюстративные слагаемые литературного целого, рассчитанные на зрительные аналогии воображенья. Но если и во всяком большом искусстве образы не только фигуры, но все: речевой стиль произведения, его размеры и пр., то у Шекспира мы имеем образ всего целого и образ мельчайших его частей, образ начала оборота.

Образен весь синтаксис. Какой синтаксис у Шекспира? Как это сказать? Вот его оттенки: высокомерный, отчаянный, шафранный, эс-мольный, ми-моль минорный с модуляцией в ре мажор, обманувший ожидания си мажора. Тинтореттоский.

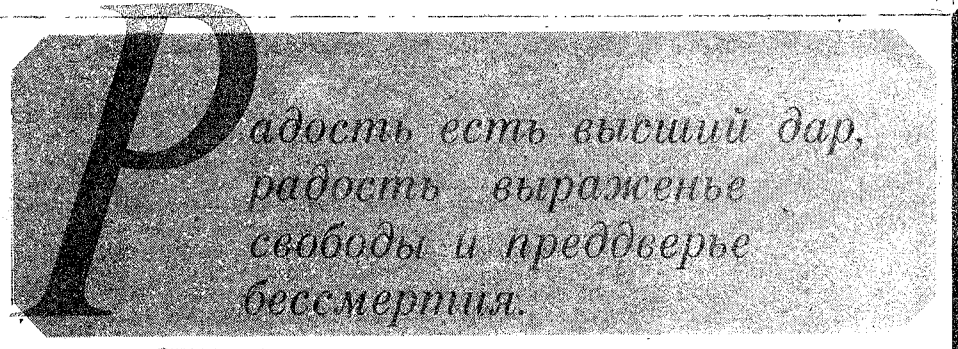
Если поэзия — блюдо, то нет более высокой кухни, нет музыки более невымышленной, действительно не фигуральной.

Наивысшая мера приспособленности материи: кажется, что Шекспира раздражали в формах, что он горевал в строчках антитез, что в путешествиях он останавливался не в гостиницах, но в чанах с краскою.

ФРОНТОВОЙ ДНЕВНИК

...Вечером совершенно срезанный с землей горд Карачев. Чуждость многочисленных развалин, сложные горы щелья, создающие преувеличенное представление о городе. Он, наконец, кажется большим, чем был на самом деле. Среди женщин несколько фигур в латях из нерусской материи. Об этих разрушениях, об ужасе нынешней русской бездомности, о немецких зверствах и пр. писали очень много и не жалея выражений. Истинная картина гораздо ужаснее и сильнее. Очевидно, о жизни нельзя писать изолированными извлечениями с изолированными чувствами, а надо привлекать все полутные мысли и соображенья, подниматься при этом. Так, например, к горечи Карачевского зрелища примешивается сознание, что если бы для восстановления разрушенных городов и благоденствия России потребовалось изменение политической системы, то эта жертва не будет принесена, а наоборот, всем на свете будут жертвовать системе. Мой взрыв в дожде по этому поводу...

Разговор в селе Белый Колдезь. Старые бабы в паневах. Всеобщность явления: березка, излюбленное немецкое дерево для заборов, перилец, крестов. Тыквы, щелья, пыль, землянки с печами. Рассказы: полицай, пан офицер, пан рус, угнали в лес. Предложили ухаживать поголовно с добром и малыми детьми. Не знают их судьбы. Молотьба. Подходит молодой человек, гозорит, зачем



а там нехватимость и нелюдимость. Строй речи, ритмическая дисциплина.

Как крайность подозрительности в отношении Шекспира: heartless exercise in the forms of the Petrarchian convention бездумные упражнения в традиционных формах Петрарки. Тогда как именно сонеты безусловны, как вершина жанра. Содержание, содержательность сонетов — предельна: трудно представить, чтобы больше жизни в ее красках, контрастах, страсти и глубокомыслия могло с большим жаром, естественностью и прочим разместиться в форме, по сей день не утратившей новизны своего явления, больше новой и одухотворенной, нежели пластическая форма Редена или оркестровая форма Вагнера.

своем молотят, надо сначала общественное. Все будет своим...

Совершенное запустение развалин, поросших запыленным будяком выше человеческого роста. Следы полей и огородов в местах других разрушений и абсолютное зрелище азиатских караванов с коршунами на развалинах. Характер этой полосы, оставленной немцами в апреле, в отличие от других взорванных и сожженных селений, покинутых в августе, в результате орловской операции, с сохраненным урожаем, огородами, заскорованным хлебом и сеном в стогах.

Пощаженные дома в Никитинке на красивой реке (Жиздре?), где я купался на другой день. Полупожаренное Семичасное. Красивый вид издали на крытую черепицею красно-оранжевую в зен

* У Маяковского: смазал.

Сергей АВЕРИНЦЕВ

Если мы будем описывать самую начальную пастернаковскую поэтику, буквально в точке ее прихода к самой себе, скажем, в фазе стихотворений 1914 г. «Цыгане» и «Мельхиор», нам придется прибегнуть к ряду утвердительных констатаций; в первую очередь важно, что у Пастернака **есть**.

Если мы будем описывать самую начальную мандельштамовскую поэтику, поэтику стихотворений из писем 1909—1911 гг. к Вяч. Иванову и первых стихотворений «Камня», центр тяжести переместится на констатации отрицательные; крайне важно, чего у Мандельштама **нет**.

Словарь первых стихотворений Пастернака буквально перенасыщен словами, по тем или иным признакам бросающимися в глаза — неологизмами, архаизмами, диалектизмами, вообще редкостными речениями всех родов, как бы яркими лексическими пятнами. Яркость их подчеркнута густо положенными созвучиями. Рифма используется как мощный компонент энергии стиха.

*Храмовой в малахите ли холен,
Возлеяя в серебре ль козгор —
Многодольную голь колоколен
Мелководный несет мельхиор.*

Мандельштамовский словарь отмечен с поразяющей скупостью. При наличии исключений, подтверждающих правило, он ориентирован на лексическую норму и не допускает однократного употребления необычных слов. Ключевые слова и обороты переходят из одного текста в другой (в частности, из стихов в прозу). Это словарь, условно говоря, классический — как в «Записках о галльской войне» Юлия Цезаря или в трагедиях Жана Расина: словарь, доблесть и гордость которого — в том, как тщательно он отобран. Соответственно исключены чересчур приметные рифмы, например, экспериментальные. Мандельштамовская рифма — как правило, одновременно точная и намеренно бедная. Ни



ники приписывают акменстам особое внимание к пластической, осязаемой конкретности вещей. У Ахматовой, особенно ранней, вещи, разумеется, заметны — но скорее как обстановка разыгрываемой драмы, ее декорация и реквизит, как метафора очередной фазы психологического сюжета, построенного вполне «антропоцентрично». Сказанное относится отнюдь не только к знаменитой перчатке с левой руки, надетой на правую, но и к вещам иного масштаба, например, к ландшафтам. «Замечая все как новое. Влажно пахнут тополя» — это не о тополях, а о так называемой лирической героине. Что до Мандельштама, он умел, конечно, чрезвычайно экономными словами вводить в свои стихи атмосферу быта, и дореволюционного, и советского, от эластичного сумрака кареты до белого керосина, сладко пахнущего на кухне, — но скупая дозировка таких образов для него принципиально важна (по крайней мере, в стихах, ибо «Египетская марка» написана иначе). Еще важнее другое: мандельштамовская поэзия тяготеет к выделению признаков, которые на языке традиции аристотелизма именуются «субстанциональными», сущностными, к отсечению случайных «акцидентов». Напротив, символ веры Пастернака — уравнивание случайного с сущностным: «чем случайней, тем вернее». «Вещам обихода» придан статус истинно космический: вспомним законные «стаканчики купороса», за которыми «ничего не бывало и нет». Дистанция между бытом и бытием у Пастернака до конца упразднена: не просто обиход, но, что особенно трудно для поэзии, **интеллигентский** обиход, например, консерваторский, до «ковровой дорожки» и даже «московских светил» включительно, без малейшего препятствия становится у него равноправной составляющей лирической темы.

У Мандельштама было характерное суеверие: конкретная вещь, которая попала в стихи, должна погибнуть. Когда Мандельштам помянул в одном стихотворении «белоручку» трость, сопровождавшую его на прогулках, тросточка пропала. Когда он воспеял зрачок глаза Надежды Яковлевны, та некоторое время ждала, что

Пастернак и Мандельштам

в словах, ни в рифмах нет красок. Прозрачность предпочтена красочности.

*Стояли воины кругом
На страже стывущего тела,
Как венчик, голова висела
На стебле тонком и чужом...*

Любопытно, что в статье Мандельштама, в сущности, посвященной Пастернаку (окончательное заглавие — «Заметки о поэзии», вошла в сборник «О поэзии»), мы встречаем довольно неожиданные выпады против ограниченности словаря: «Воистину, русские символисты были столпниками стили: на всех вместе не больше пятисот слов — словарь полинезийца. Но это по крайней мере были аскеты, подвижники. Они стояли на колодах. Ахматова же стоит на паркетине — это уже паркетное столпничество». Мандельштаму не пристали подобные шутки; он и сам был такой — «емлет звуки, опрятен и скуп», как будет сказано в воронежском стихотворении. Если, однако, верить свидетельству Н. Н. Вильмонта, Борис Леонидович еще в середине 10-х годов убеждал Гумилева и Мандельштама в порочности ориентации символистов на скудный словарь, — и тогда все становится на свое место: пассаж из «Заметок о поэзии», совершенно не соответствующий мандельштамовской поэтике, знаменует меру страстной, неразделенной, драматической влюбленности Мандельштама в Пастернака. Как отблеск строки Пастернака «С чем бы стал ты есть земную соль?!» — в мандельштамовской прозе «Шума времени». Как эмоциональные всплески, воркотня, проговорки, сохраненные памятью мемуаристов. Чтобы написать этот пассаж, Мандельштаму нужно было на мгновение увидеть проблему поэтического языка глазами Пастернака. Его собственные глаза видели иначе.

Вернемся, однако, к нашей теме.

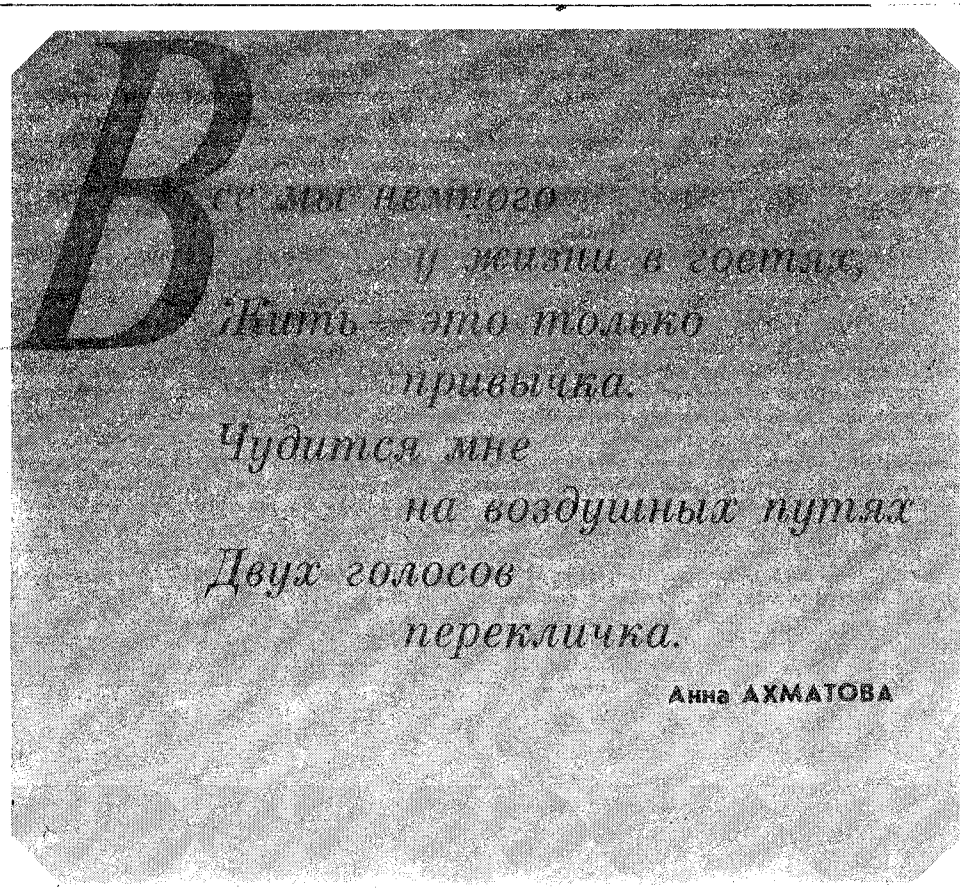
О П Ы Т

С О П О С Т А В Л Е Н И Я

Каждый из поэтов, о которых мы говорим, очень решительно сопротивлялся символистскому возведению поэта в ранг метафизика и теолога; выдавать их самих за метафизиков и теологов не следует. И все же трудно обойтись без старинной богословской терминологии. Традиция учит, что есть два пути познания Бога: катафатическое богословие, или *via positiva* («путь утвердительный»), и апофатическое богословие, или *via negativa* («путь отрицательный»). В первом случае к Богу восходят от вещей в совокупности признаков последних, во втором — через последовательное отрицание признаков и столь же последовательное отрешение от вещиности. Пастернак ближе к первому; Мандельштам ближе ко второму, и потому его собственное мастерство так часто приходится характеризовать, выстраивая цепочку отрицаний. Физическое ощущение от Пастернака — густота, от Мандельштама — разреженность. В одной повести английского писателя нашего столетия Чарльза Уильямса есть умный мистик, который имеет обыкновение при виде каждой новой святыни твердить про себя одну и ту же молитву: «И в этом — тоже Ты; и это — тоже не Ты». Кажется, что поэты поделили эту молитву между собой: Пастернак взял себе ее первую часть, Мандельштам — вторую.

Трудно удержаться от искушения пожать плечами, вспоминая, что учеб-

ослепнет. В шутку попробуем прикинуть объем разрушительных катастроф, которые разразились бы, будь такое действие у пастернаковских стихов! Неистово, вздохл перечисляемые предметы планетарного масштаба — «Горы, страны, границы, озера, перешейки и материи» — у него такие же «вещи обихода», как те же стаканчики с купоросом. «Афиши, ниши, крыши, трубы...» Впрочем, никто разрушительного действия от этих пере-



Анна АХМАТОВА

числений не ждал, и это вполне характерно.

В конце своего пути Мандельштам, избежавший дотоле подобных заявлений, сказал о себе: «Всех живущих прижизненный друг». Мы помним, что эти слова введены в контексте мысли о смерти. Но хотелось бы подчеркнуть другое: Мандельштам говорит о дружбе со всеми живущими, то есть с людьми, с другими «Я». Раньше это называлось у него «сообщничество существ в заговоре против пустоты и небытия». «Сущие» — это человеческие личности, и фон для их личного бытия — ненавистная пустота. Но у Пастернака иерархия, выделяющая человеческое среди мира вещей, упразднена:

*Попутно выясняется: на свете
Ни праха нет без пятнышка родства:
Совместно с жизнью прижитые дети —
Дворы и бабы, галки и дрова.*

Мандельштамовская поэзия ищет отвлечения от вещей и смотрит на них всегда издали, с рассеянным удивлением. Ее торжественность не относится ни к вещам, ни к себе самой; ее можно отнести только к бытию как таковому, «абстрактному бытию», постижимому лишь через отказ от конкретного («любите существование вещи больше самой вещи»). У Пастернака, напротив, взгляд изблизи, до полного погружения в вещи. Важен мотив снегопада — все близко, далее вообще не увидеть, физический контакт со стихией неизбежен. «Пушинки непрошено валяются на руки».

Стих Пастернака — поток, управляемый законами динамики, а потому исключающий симметрию и равномерность; движение возрастает, и этот переход потенциальной энергии в кинетическую мы ощущаем к концу каждой строки. Рифма — звучный разряд этой энергии:

*А в саду, где из погребца, со льду,
Звезды благоуханно разахались,
Соловьем над лозою Изольды
Захлебнулась Тристанова заходь.*

Напротив, Мандельштаму важно как раз сдержать движение потока — ради создания молчаливой апофатической ниши в самом его средоточии. Поэтому его стих живет статикой, равновесием. И поэтому, как мы уже видели, — никаких рифменных взрывов.

Тот же контраст остается в силе, когда мы от масштаба отдельной строки переходим к масштабу стихотворения в целом. Для Мандельштама характерна стабильная интонация, выдерживаемая от начала до конца — разумеется, при движениях голоса, который явственно понижается, например, при переходе от первого четверостишия «Ламарка» ко второму. Напротив, для Пастернака почти правило — если стихотворение кончается на forte, оно должно начинаться с piano, и наоборот. Скажем, звучный, торжественный финал:

*И это ли происки Мэри-арфистки,
Что рока игроу ей под руки лег
И арфой шумит ураган арабийский,
Бессмертья, быть может,
последний залог,*

— властно требует в первой половине раскачки, разборматывания, полуневнятицы под сурдинку:

*В дни съезда
шесть женщин топтали луга.
Лениво паслись облака в отдаленьи.
Смеркалось, и сумерек хитрый маневр
Сводил с полутьмою
зажженный репейник...*

Напротив, если в начале стоит:

*Будущего недостаточно.
Старого, нового мало.
Надо, чтоб елжко святочной
Вечность средь комнаты стала,*

— требуется сейчас же сбавить тон:

*Чтобы хозяйка утыкала
Россыпью звезд ее платье,
Чтобы ко всем на каникулы
Съехались сестры и братья,*

— и так идет дальше, вплоть до последней строки (о раннем закате зимнего солнца):

Село, истлело, потухло.

«Мы втаскиваем вседневность в прозу ради поэзии», — писал Пастернак в «Охранной грамоте». — «Мы вовлекаем прозу в поэзию ради музыки». Если у Мандельштама прозаиз-

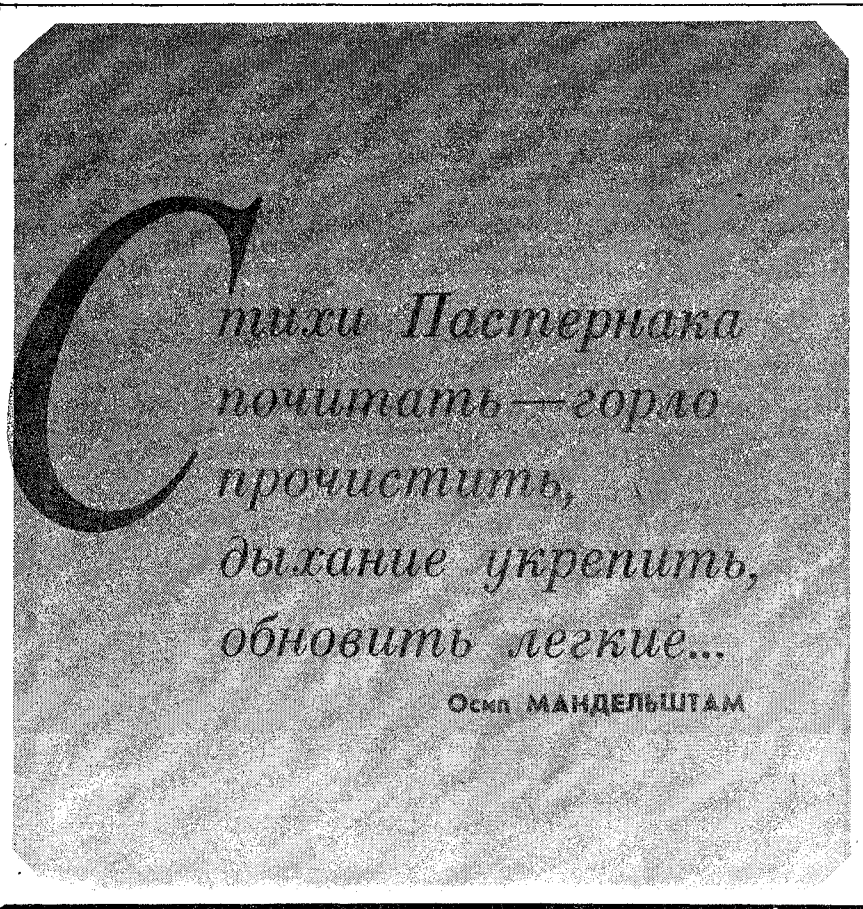
мы и вульгаризмы демонстративно брошены в поток «высокой» интонации («Нет, не спрятаться мне от великой мурь...»), а у поздней Ахматовой используются для лексических коллажей, то и дело перемежаясь оборотами старой поэзии, то у Пастернака их функция — иная: создавать музыкальные *diminuendo*, идущие большими волнами.

Замкнутость мандельштамовской и разомкнутость пастернаковской поэтики отчетливо выражается в употреблении имен собственных

Что можно сказать об именах собственных у Пастернака? Их не много и не мало, они названы без всякого нажима, не обведены никакой незримой чертой, они такие же, как и все прочие слова. Нечего и говорить, что в них нет щегольства, хвастовства нехитрым блеском фонической экзотики, как у Брюсова, Волошина или Гумилева; но стыдливости, окружающей каждое имя собственное у Мандельштама, здесь тоже нет. Они вводятся, как в самом обычном интеллигентском разговоре:

*...До слез Чайковский потрясал
Судьбой Паоло и Франчески.*

В составе стихотворения от названия имени ничего особенного не сдвигается. Никакой сакраментальности. Имя — непосредственная апелляция к реальности, лежащей вне стихотворения, где Чайковский, Паоло и Франческа — некоторые опозна-



ваемые для современников персонажи, и все. Такому «мирскому» обращению подвергнуты и сакральные имена:

*Ноги я твои в подол уперла,
Их слезами облила, Исус...*

Имя собственное приравнено к имени нарицательному, или, может быть, напротив, имя нарицательное возведено в ранг имени собственного; ибо всякий предмет у Пастернака живет, пользуясь терминологией Бубера, в «мире я-и-ты», не в «мире я-и-оно».

Полный контраст пастернаковскому подходу — стремление Мандельштама табуировать или ритуализировать введение имени собственного. Основа мандельштамовской поэтики — ветхозаветное представление о неприкосновенности имени Божия все; характерно, что в раннем стихотворении о Голгофе Иисус остается неназванным — от начала до конца лишь местоимение «Он». Не так просто назвать даже имя человеческое. «Легче камень поднять, чем имя твое повторить...». По черновым вариантам видно, как Мандельштам при работе над своими стихами исключал уже введенные имена.

Напротив, у Пастернака имя собственное предстает как частный случай того вполне непринужденного, домашнего достоинства, которым обладает любое слово. В этой демократии слов условия упразднены.

И в заключение — несколько слов о попытках обоих поэтов стать, что называется, созвучными своей эпохе. Глубоко утешительно, что попытки эти в обоих случаях не удались. Метабиографическая связанность смысла, цельность поэтического взгляда на вещи продолжает держать оборону и тогда, когда поэт как биографический персонаж пытается совершить ошибку. Сама поэзия ему этого не позволяет.

Но результаты были различны.

Мандельштама спасает глубоко присущая ему установка на дистанцию, на взгляд издали. В своей «Оде Сталину» он словно бы каталогизирует мотивы сталинистской мифологии, наподобие того, как можно было поступить с мифами цивилизации, окончившей свое бытие тысячи лет тому назад (например, как он же сам писал о египтянах и ассирийцах). Пастернак сделал нечто противоположное: он предпринял попытку еще раз обратиться к некоему «ты», к партнеру в диалоге, окликнуть с одного полюса мироздания — другой полюс.

*...Он верит в знание друг о друге
Предельно крайних двух начал.*

И экспериментально выяснилось, что на другом конце провода — однажды, как известно, метафора провода материализовалась! — нет собеседника. Что обращаться не к кому. Что у всемогущего носителя власти отнята данная самому последнему из людей способность: ответить на слово в разговоре.

Обычно от Пастернака периода «Сестры моей — жизни», да и от многих позднейших стихов остается впечатление, что здесь ни о чем другом не говорится, кроме как о том, какая была вчера или сегодня погода. С изображением погоды, с пристрастием к погоде связано, как ни странно, и особое место Пастернака в литературном процессе и в обществе.

На Пастернака очень рано поднялись нарекания в официальной, партийной печати — за то, что он, дескать, все пишет о погоде и о природе, вместо того чтобы откликаться на политические злободневные темы советской современности. В 30-е годы критика назвала Пастернака «гениальным дачником», именем, которое звучало тогда убийственной насмешкой.

Но «верность погоде» была для Пастернака не только средством защитить свою независимость в искусстве и не участвовать в политике, которая все больше и больше возбуждала в нем отвращение. Это было и формой активного противостояния миру лжи и насилия. «Верность погоде» в итоге оказывалась верностью человеку в его нравственном зерне.

В романе «Доктор Живаго» Пастернак проводит аналогию: в гражданской войне люди так состязались в жестокости друг с другом, что человеческая история казалась уже не историей земли, но какой-то другой чудовищной планеты. И только природа сохраняла верность человеку в его истинном смысле и назначении.

Эту аналогию допустимо применить к поэзии самого Пастернака. В высокой лирике XX века явно преобладает трагическое мироощущение и творчество поэтов нередко окрашивается в самые мрачные тона. Образ поэзии Пастернака, взятой в целом, представляется на этом фоне неким исключением. Среди гениальных русских лириков нашего столетия Пастернак, можно заметить, самый светлый, самый мажорный и жизнерадостный автор. Как если бы время его не коснулось, как если бы, сохраняя верность живой природе, он сберег в душе прочную опору, несмотря на сгущавшийся сумрак истории.

В действительности дело обстоит несколько по-иному. Трагические события эпохи Пастернак переживал крайне тяжело и болезненно. Но страшные видения истории, западая в душу, перемалывались, преображались в почву, из которой в дальнейшем вырастали стихи, исполненные любви и доверия к жизни. В этом смысле поэзия Пастернака была живым растением, которое, пользуясь историей как почвой, служит аккумулятором добра и человечности, извлекающих живительные соки из самой смерти.

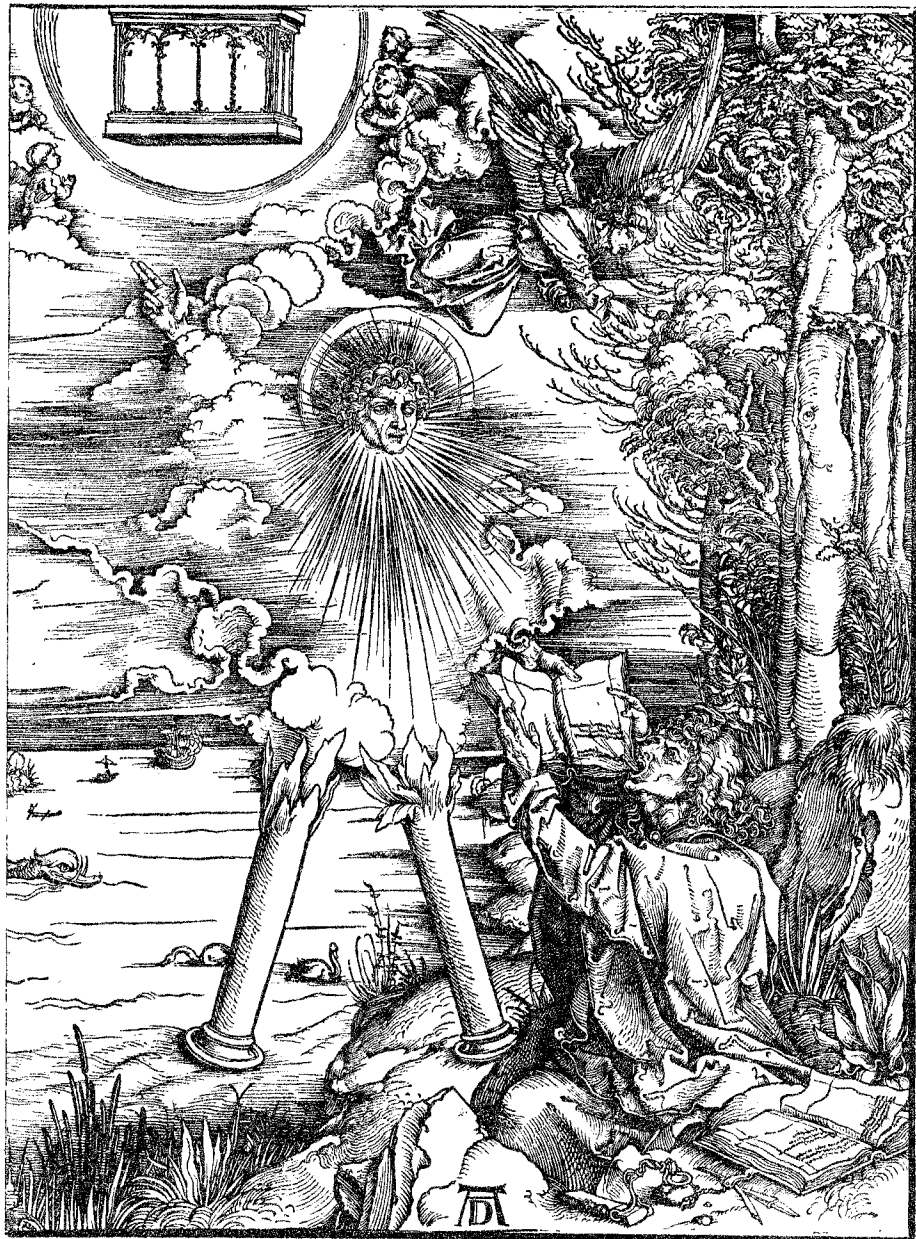
На эту тему Пастернаком к концу жизни было написано стихотворение «Душа», которое позволяет понять, что такое для него творческий процесс и как этот процесс соотношен с современной эпохой. Поэт сравнивает свою душу с землей кладбища, куда укладываются вот уже 40 лет невинно загубленные люди. Продолжая мысль Пастернака, можно заметить: братская могила истории и становится питательной средой для поэта, преображающего человеческие страдания и жертвы в непрерываемые нравственные ценности бытия.

*Душа моя, печальница
О всех в кругу моем,
Ты стала усыпальницей
Замученных живьем...*

*Ты в наше время шкурное
За совесть и за страх
Стоишь могильной урной,
Покойщей их прах...*

*И дальше перемалывай
Все бывшее со мной,
Как сорок лет без малого,
В погостный перегой.*

Отсюда, из той же почвы, выросли стихи Пастернака на евангельскую тему в романе «Доктор Живаго». Это житейские эпизоды, изложенные языком просторечия, а вместе с тем — священные притчи, связанные с крестным путем и с образом Спасителя. Они объята сознанием собственной, писательской участи, возможной и близкой гибели автора этих стихов, а в широком смысле — участи каждого из нас, поскольку черты и события Богоявления воссозданы в тональности субъективного переживания, в материи повседневной всечеловеческой истории. Как это ни удивительно, евангельские стихи становятся одновременно рассказом о нашей эпохе, и в частности о последних годах и днях самого Пастернака. Христос живет и сегодня — и сегодня, в который раз, претерпевает радость, и чудо, и муки Своего жребия.



*Свинцовую тяжестью всею
Легли на дворы небеса.
Искали улик фарисеи,
Юля перед Ним, как лиса.*

*И темными силами храма
Он отдан подонкам на суд,
И с пылкостью тою же самой,
Как славил прежде, кланют.*

Образы и картины Евангелия строятся на соединении чуда и низкой повседневности, исключительного и будничного, сверхъестественного и заурядного. Прозрачность иных деталей, обыденный колорит происшедшего служат удостоверением чуда, о котором рассказывается, и сообщают событиям священной истории подчеркнута современный личный отпечаток. Автор строго придерживается канонического сюжета и воспроизводит его порой с текстуральной точностью, а в языке, в психологических и бытовых подробностях допускает смелые вольности, которые, однако, вводятся им не в нарушение, а как бы в уточнение, конкретизацию канвы предания. Он поступает примерно так же, как в свое время на этот сюжет писали картины Брейгель или Рембрандт. Старые мастера, с наивностью очевидцев, одевали евангельские рассказы в костюмы современников и развертывали действие на фоне

родного ландшафта. Следуя сходным путем, Пастернак обставляет Рождество Христово, Богоматерь с Младенцем онегом и сугробами русской зимы и обрамляет столь красноречивыми жанровыми подробностями, что все стихотворение приобретает вид сцены, списанной с натуры («Рождественская звезда»). В итоге текст Писания в переложении Пастернака предстает как самая современная, актуальная реальность. От его стихов на евангельские темы остается ощущение длящейся и по сей день священной Мистерии...

*У камня толпилась орава народу.
Светало. Означились кедров стволы.
— А кто вы такие? — спросила Мария.
— Мы племя пастушье и неба послы,
Пришли вознести вам обоям хвалы.
— Всем вместе нельзя.*

Подождите у входа.

*Средь серой, как пепел,
предутренней мглы
Топтались погонщики и овцеводы,
Ругались со всадниками пешеходы,
У выдолбленной водопойной колоды
Ревели верблюды, лягались ослы.*

Пастернак отказывается от строго определенной формы в изложении вероучения, от формы, которая бы связывала человека по рукам и ногам и

внушала бы читателям нечто вроде обязательной религиозно-моральной программы, на манер, допустим, позднего Толстого. Ведь само Евангелие и сам Христос, в истолковании Пастернака, лишены навязчивости и, переработав мироздание, пользуются «предложением наивным и несмелым», в котором нет ни громкого пафоса, ни жестких предписаний, но действует «неотразимостью безоружной истины».

Роман «Доктор Живаго» дышит «предвестием свободы», которое, по словам Пастернака, составило «единственное историческое содержание» всей послевоенной эпохи, и это сказывается на самой его «свободной» форме. В романе, фигурально выражаясь, множество «окон», распахнутых в разные стороны, и через эти «окна» текст «проветривается» и набирает дополнительный смысл, находящийся как бы уже за текстом. Роль таких «окон» играют, в особенности, пейзажи, необыкновенно активные и привносящие в повествование свет (солнца, снега, растений, человеческого лица), исходящий «свыше» и сообщающий всему, что здесь происходит, таинственную силу более общего, всемирно исторического или вечного значения.

Такого же рода «окнами» в высокую духовность и религиозную символику являются стихи, приложенные к роману в конце, как очевидный выход пастернаковской прозы в поэзию и в религию. Они-то более всего и придуют изображаемой здесь частной жизни оттенки скорбный и чудесный «божественности», смыкая человеческий путь с евангельским сюжетом. Факты земной действительности получают в результате религиозное истолкование, религиозную направленность или окрашенность, но не становятся в собственном смысле событиями Священной истории. «Доктор Живаго» — это не «подражание Христу» и не попытка переписать Евангелие на новый, пастернаковский лад. И поэтому стихи, приложенные к роману, не надо путать с самим романом в его прозаическом виде. Стихи зарождаются в недрах прозы, но, удалясь от нее высоко, вынесенные за скобки романического повествования, набираются уже иной религиозной и образной силы. Через них и помимо них роман озарен не ярким, но размытым или мерцающим светом Евангелия, который подчас совпадает с естественным освещением, общая одновременно тому духовную принадлежность, которая на земном языке всегда не окончательна. Этим достигается, в частности, ненавязчивость Пастернака в его религиозной трактовке повседневных вещей и фактов, в трактовке, весьма примечательной и в то же время свободной от назойливого доктринерства и морализаторства.

Пастернак объявляет в романе, что художественные произведения, помимо героев, тем, сюжетов и положений, «больше всего говорят... присутствием содержащегося в них искусства... И когда крупница этой силы входит в состав какой-нибудь более сложной смеси, примесь искусства превращает значение всего остального и оказывается сутью, душой и основой изображенного».

Перефразируя эту мысль, допустимо заметить, что стихи Пастернака, приложенные к роману, несут в себе, помимо прочего, в чистом виде искусство, в присутствии которого течет его проза. И как бы далеко стихи ни отходили от прозы, она существует под их присутствием, в их высоком присутствии. Подобно тому, как в присутствии Бога существует земная действительность, изображаемая в романе, и только потому живет, движется и пишется.

*Толпа на соседнем участке
Заглядывала из ворот,
Толклись в ожиданье развязки
И тыкались взад и вперед.*

*И полз шепоток по соседству
И слухи со многих сторон.
И бегство в Египет и детство
Уже вспоминались, как сон.*

*Припомнился скат величавый
В пустыне, и та крутизна,
С которой всемирной державой
Его соблазнил Сатана.*

*И брачное пиришество в Кане,
И чуду дивящийся стол.
И море, которым в тумане
Он к лодке, как по суку, шел.*

*И сборище бедных в лагуге,
И спуск со свечою в подвал,
Где вдруг она гасла в испуге,
Когда воскресенный вставал...*

ПАРИЖ. Рождество. 1990.

Андрей СИНЯВСКИЙ

Стояла зима.
Дул ветер
из степи...

О стихотворениях Пастернака
на евангельские
сюжеты и темы

Впервые имя Пастернака я услышал до войны в Киеве, когда стал посещать литкружки. Оказалось, что рядом с тогдашней официальной шкалой литературных ценностей и авторитетов существует еще одна, не менее авторитетная даже для признанных литераторов, в которой поэт, чье имя я тогда впервые услышал, занимает особое и важное место. Это одно превращало меня в его потенциального поклонника. Фальшь официальной иерархии была для меня очевидна, и сам факт наличия другой

Наум КОРЖАВИН

Пастернак

В НАШЕЙ СУДЬБЕ

укреплял меня в моем восприятии — скорее жизни, чем искусства (в искусстве я тогда еще мало понимал). Я прямо-таки жаждал прочесть, понять и полюбить этого поэта.

Однако это оказалось не так просто. Прочитав его книгу — первой мне попала почему-то «Темы и вариации», — я был растерян. В сущности, я мог бы отозваться о ней словами одного инженера, впервые услышавшего какие-то строки Пастернака в антипастернаковской лекции, прочитанной в их институте в разгар соответствующей кампании: «Непонятно, но как-то музыкально убедительно». Я тоже чувствовал эту убедительность и ничего не понимал. И это меня смущало: я любил понимать. Но потом его строки сами полезли из меня.

*Есть сон такой, — не спишь,
а только снится,
Что жаждешь сна;
что дремлет человек,
Которому сквозь сон палит ресницы
Два черных солнца,
бьющих из-под век.*

безграничного безоблачного счастья. Но, как известно, Пастернака, наоборот, неизменно «опускали» — только что, слава Богу, не до уровня «лагерной пыли», не в могилу. Такого ощущения полноты и счастья бытия, которое жило в нем и было даровано отнюдь не Сталиным, тому от подданных не требовалось. Независимо от воли автора оно скорей должно было восприниматься сталинским режимом как дерзкое проявление независимости. Но независимость эта не была дерзкой. Она была естественной, как дыхание правды, тем сильнее она действовала, возвращая читателю представление о нормальном мире ценностей, о собственном достоинстве, действовала не фактом противостояния, а сама по себе. Это не имело никакого политического значения, ничем не угрожало и не мешало Сталину, но плохо вписывалось в пейзаж и при

случае могло стоить поэту головы. Ничто тогда не имело политического значения, не угрожало и не мешало Сталину: ни головы, в том числе и не очень независимые, летели. Пастернак уцелел. Скорей всего он воспринимался режимом как нечто чужеродное, но реликтовое. Наверное, поэтому Сталин, несмотря ни на что, относился к нему, судя по всему, с некоторым любопытством: не убил, не посадил и даже давал возможность жить и работать. Возблагодарим судьбу, Бога или каприз тирана за то, что Пастернак — несмотря на свою абсолютную независимость — остался цел, что ему повезло.

Ему вообще везло. Многим это покажется парадоксальным, но я действительно убежден, что, несмотря на некоторые «заклимы», а в конце жизни и грязную травлю, он был одним из самых счастливых (причем не только в высоком, но и в самом обыденном понимании этого слова) людей своего не очень приспособленного для счастья времени. Счастливей его не прожил свою жизнь не только гениальный ублюдок Сталин, всегда мучившийся, кроме мании преследования, еще и комплексом неполноценности, но даже Уинстон Черчилль, который мог после победы над Гитлером потерпеть поражение на выборах. Пастернака же никто не мог ни переизбрать, ни уволить. Разве что исключить из Союза писателей. А это отнюдь не равносильно исклю-

чению из литературы. И произошло это уже в конце его жизни, когда он, выступив как прозаик и мыслитель, прямо высказал в «Докторе Живаго» ряд суждений об истории советского общества, противоречащих официальным. Пришел он к этим мыслям далеко не сразу. При всей отрешенности он, безусловно, был человеком своего времени. В какой-то степени (не намного меньшей, чем большинство его сограждан, в том чис-

ле и писателей, но большей, чем Мандельштам, не говоря уж об Ахматовой) подверженным его духовным соблазнам. В самое неподходящее время он мог захотеть, да еще в отличие от «хлыща» не чего-нибудь, а... «трудно... заодно с правопорядком» (эпохи «шахтинского дела»!). Но эволюция его взглядов и отношений — особая тема, важная не только в связи с ним, я ее сейчас касаться не буду. Скажу только, что и это его — вроде вполне гражданское — поведение вызвано в первую очередь беспокойством за личное счастье, личную красоту. Вот что он ставит себе в заслугу в стихотворении, написанном во время травли из-за «Доктора Живаго»: «Я весь мир заставил плакать над красой земли моей».

Конечно, это — о любви к родине, но эта любовь прежде всего к ее «красе», к тому, что давало ему счастье. Строк о том, что он гордится тем, что первым вслух высказал важные мысли, в стихотворении нет вообще. Есть надежда на то, что «Силу подлости и злобы одолеет дух Добра». Но это другое. Это ближе к полноте и счастью бытия, к тому, чем всегда были полны его жизнь и поэзия.

Может возникнуть вопрос: как он мог чувствовать себя счастливым на фоне всего, что происходило рядом? Но таково свойство его творческой индивидуальности — высветлять счастье, которое всегда есть в жизни и которым всегда будет жизнь. Думаю, что это и было его миссией. Безусловно, эта миссия давалась ему совсем нелегко. Счастье это приходилось защищать и беречь от всего. Иногда и от разрушительных впечатлений. Например, от коллективизации. То есть по-человечески он на нее вполне откликнулся и вел себя вполне достойно. Я слышал, что, вернувшись в 1933 году с Украины, он написал о тамошнем голоде письмо в ЦК, позже в «Докторе Живаго» он сказал о коллективизации очень весомые слова — видно, она тревожила его всю последующую жизнь. Но в свое самое сокровенное — в свой поэтический мир — он эту тему не пустил. Вероятно, инстинктивно чувствовал, что этот мир она бы разрушила, а для него это было равносильно смерти. Мы с детства были уверены, что о человеке надо судить по тому, насколько он соответствует образу непреклонного политического борца, но это не так. У Пастернака было другое призвание, которое требовало иных качеств. Правда, в конце концов его жизнь не обошлась и без гражданского подвига. Но это уже печать времени, экстремальная ситуация, когда за трагедией не стоят.

Но даже стремясь слиться с эпохой, Пастернак не мог захотеть солгать себе или другим, что желаемый уровень «слияния» им уже достигнут. Он мог обозвать все, что этому мешает, тем, «что всякой косности косней», мог надеяться это внутренне «перерастить» (когда казалось, что это рост), но не мог просто взять и механически отбросить эту «косность», пренебречь собственной «грудиной клеткой», как сделали многие его — иногда совсем не бездарные — коллеги. Ибо это значило бы отказаться от самого себя, от внутренней свободы, полноты и счастья. И именно потому, что он этого сделать не мог (а не потому, что всегда правильно оценивал запутанные и запутываемые события эпохи), он и смог непрерывно, до последнего дня своей жизни быть большим русским поэтом и сыграть ту роль в жизни своих современников, которую он сыграл.

*Силу подлости и злобы
Одолеет дух Добра*

И это уже не имело отношения ни к какому противостоянию. А если стихи эти (написаны они в 1917 году, но характерны для всего его творчества) все же как-то противостояли господствующей бессмыслице, то только как реальность. Реальность ощущения и реальность поэзии, а в случае с Пастернаком — и реальность счастья. Понял я это много позже, но ощутил уже тогда. И, по-видимому, это заставило меня впервые задуматься о сущности поэзии да и о ее действительном, а не навязанном ей общественном значении.

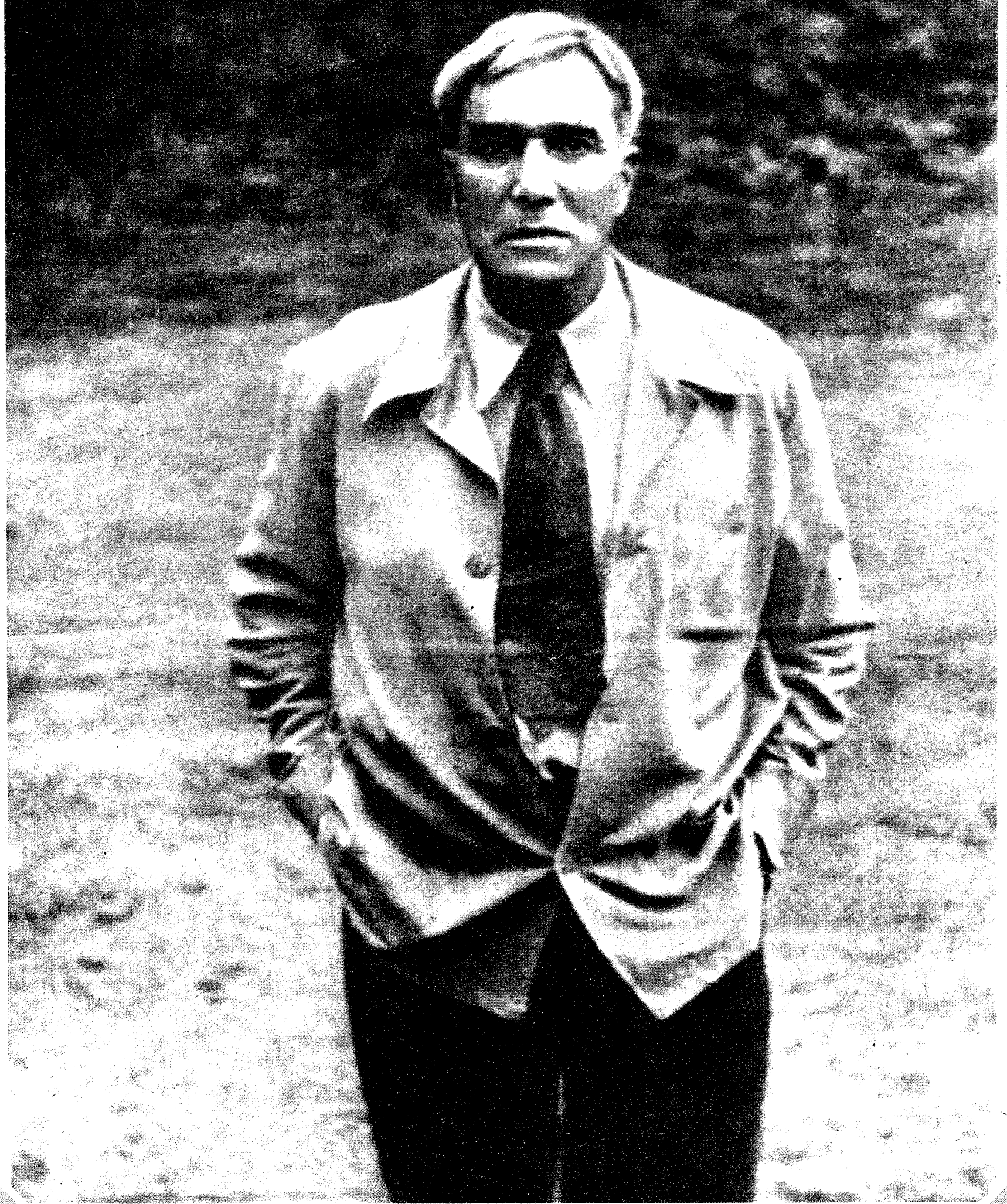
Обжегшись на молоке, дуют на воду. После всего, что было, употреблять этот термин стало вроде бы просто неприлично. Но у слов есть свой неотъемлемый смысл. Я имею в виду не ту или иную направленность «содержания» (то есть тем, мыслей, призывов и тому подобно), а общественное значение поэзии как таковой. Просто потому, что она — поэзия, она фиксирует — иногда в самом повседневном — высокие проявления человеческой духовности и вносит в жизнь представление о возможности высокого счастья. Даже когда говорит о его невозможности. Если оно в стихотворении ощущается, пусть даже как невозможность, то оно в нем присутствует, оно — воплощено.

Но это общее соображение. Поэзия Бориса Пастернака и по своей индивидуальной сути — прежде всего поэзия счастья. Она иногда буквально захлебывается от счастья.

Казалось бы, тогдашнее руководство должно было его за этот «оптимизм» поощрять и «поднимать». Он вроде бы больше и естественней всех соответствовал внушавшемуся тогда ощущению



А



В.

Я

*пропал, как зверь в загоне.
Где-то люди, воля, свет,
А за мною шум погони.
Мне наружу ходу нет.*

*Темный лес и берег пруда,
Ели сваленной бревно.
Путь отрезан отовсюду,
Будь что будет, все равно.*

*Что же сделал я за пакость,
Я, убийца и злодей?
Я весь мир заставил плакать
Над красой земли моей.*

*Но и так, почти у гроба,
Верю я, придет пора,
Силу подлости и злобы
Одолеет дух добра.*

ГНЕВ НАРОДА

Из подборки откликов на исключение Б. Пастернака из Союза писателей СССР за «предательство по отношению к советскому народу, к делу социализма, мира, прогресса, оплаченное Нобелевской премией» («Литературная газета», 1 ноября 1958 года).

ЛЯГУШКА В БОЛОТЕ

Что за оказия? Газеты пишут про какого-то Пастернака. Будто бы есть такой писатель. Ничего о нем я до сих пор не знал, никогда его книг не читал. А я люблю нашу литературу — и классическую, и советскую. Люблю Александра Фадеева, люблю Николая Островского. Их произведения делают нас сильными и благородными. С детства читаю и люблю Михаила Шолохова.

Много у нас хороших писателей. Это наши друзья и учителя.

А кто такой Пастернак? По цитатам из его произведения видно, что Октябрьская революция ему не по душе. Так это же не писатель, а белогвардеец. Мы, советские люди, твердо знаем, что после Октябрьской революции воспрянул род людской.

Мой отец, знатный животновод совхоза № 18 Ростовской области, не был призван в Отечественную войну — броню имел. А как нажали гитлеровцы, он ушел добровольцем на фронт. Нам, детям, он сказал: надо защищать октябрьские завоевания, без них мы никто и ничто.

Я еще был мальчишкой, а хорошо понимал это. С войны отец вернулся домой тяжело раненный. Но ведь не зря пролил кровь, а за свое родное дело. Мы, три брата, работали механизаторами в совхозе. Потом я поехал строить Сталинградскую гидроэлектростанцию. Шесть лет тружусь я старшим машинистом на кране-экскаваторе № 681. Мы достраиваем великое сооружение на Волге. Я работаю на перекрытии русла. Вот ночью была буря, много надедала бед. Трудная была ночь. Сегодня все исправлено.

А какая там буря в луже у Пастернака? Как у лягушки в болоте. Бывает, такое болотце вместе с лягушкой мой ковш зачерпнет да выкинет.

Допустим, лягушка недовольна, и она квакает. А мне, строителю, слушать ее некогда. Мы делом заняты.

Нет, я не читал Пастернака. Но знаю: в литературе без лягушек лучше.

Филипп ВАСИЛЬЦОВ,
старший машинист экскаватора
СТАЛИНГРАД

ПАСКВИЛЯНТ

Б. Пастернак написал «Доктора Живаго» — злобный пасквиль на советский народ, на его традиции, на его революционный дух. Буржуазная печать с радостью приняла этот пасквиль, Пастернаку даже присуждена Нобелевская премия. За что такая честь? Может быть, за большую художественную ценность книги? Нет, не за это. Сами буржуазные литераторы не видят в ней таких достоинств.

Антисоветский дух, злобная клевета на советский народ, на Коммунистическую партию — вот что полюбилось в Пастернаке нашим идеологическим противникам. Получилось так, что Нобелевскую премию присудили не автору сколько-нибудь значительного литературного произведения, а клеветнику, предавшему идеалы своего народа.

Наш народ имеет поистине замечательных писателей. Многие из них создали художественные произведения, обогатившие мировую культуру. Эти произведения читают сотни миллионов людей на своих родных языках. Вот такие писатели и являются законными и действительно достойными кандидатурами на высокую премию. Но их мы не видим в списках нобелевских лауреатов. Почему?.. Вот об этом-то и стоит серьезно подумать тем, в чьих руках находится судьба Нобелевской премии.

Что касается новоиспеченного лауреата Пастернака, запятнавшего свою честь и совесть, то советские люди с презрением причислят его к разряду тех, кто продается по дешевке. Сомнительный литературный товар Пастернака недолго будет в цене и за рубежом. Место его — за негодностью — на мусорной свалке!

А. ДУБИНСКИЙ,
инженер

КИЕВ

ПОЗОРНЫЙ ПОСТУПОК

Мы, студенты Литературного института имени А. М. Горького, выражаем свой гнев и возмущение предательским поступком Пастернака — злобного клеветника на нашу революцию, на нашу жизнь.

Мы мечтаем стать писателями, выразителями дум родного народа, и мы отвергаем всякую попытку наших врагов представить Пастернака советским писателем. Нет такого советского писателя! И то, что у этого злопыхателя еще имелся билет члена Союза писателей СССР, — горькое и обидное для нас недоразумение. Мы всецело поддерживаем постановление президиума правления Союза писателей СССР, бюро оргкомитета Союза писателей РСФСР и президиума правления Московского отделения Союза писателей РСФСР о действиях Пастернака, несовместимых со званием советского писателя.

В дни, когда в мире идет напряженнейшая и острейшая идеологическая борьба между двумя лагерями — между правдой и ложью, между светом и мраком, обыватель отдал в руки нашим врагам свою грязную книжку, порочащую Великую Октябрьскую революцию, партию и народ. Невольно возникает вопрос: не пора ли внутреннему эмигранту Пастернаку уехать за пределы нашей Родины, в тот мир капитализма, который родственен ему по духу?

А. СТРЫГИН, В. ГЕРАСИМОВ, Н. НЕКРАСОВ, Д. БЛЫНСКИЙ, В. ФИРСОВ, Н. СЕРГОВАНЦЕВ, В. ТИТАРЕНКО и другие

[всего 110 подписей]

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ

С гневом и возмущением узнал я о предательском поступке Б. Пастернака, продавшего свой гнусный пасквиль за границу, где вокруг него раздута очередная антисоветская шумиха. Только ослепленный ненавистью, бесконечно далекий от народа человек может так клеветать на завоевания Великого Октября, закрывать глаза на огромные изменения, происшедшие за годы Советской власти в материальной и духовной жизни народа.

Для нас, советских работников искусства, нет цели выше и прекраснее, чем служение родному народу.

Эуген КАПП,
народный артист СССР
ТАЛЛИНН

«Доктор Живаго» служит на руку нашим врагам, ненавидящим Советскую страну и советский народ. Презрение Пастернаку, презирающему нашу Родину и наши великие завоевания!

Е. БУХТАРЕВ,
инженер-экономист
МИНСК

Предательский поступок Пастернака стал логическим завершением его ущербного декадентского «творчества». Неслучаен был давний бухаринский папегирик в его адрес! Можно быть уверенным, что раздутая поборниками «холодной войны» «слава» Пастернаке весьма кратковременна.

А. МАСИТИН,
педагог

Можайский район
Московской области

Я люблю стихи многих русских поэтов, но манерная заумь Пастернака никогда не трогала меня, как не могла она тронуть сердца большинства советских людей. Ясно, что Нобелевская премия присуждена ему за антисоветский поступок.

Дайна ВИЛИПА,
пианистка
РИГА

Каждый день я вижу, с какой любовью относятся покупатели нашего книжного магазина к советской литературе, как уважают они писателей, которые умным, талантливым словом помогают строить новый быт, новую жизнь. Пастернак сам вынес себе приговор. Его имя будет забыто, к его книгам не прикоснется рука честного человека.

Геновайте РАДЗЕВИЧУТЕ,
продавец книжного магазина
ВИЛЬНЮС

...И Пастернак еще смеет чернить великого Маяковского! Да Пастернак подметки его не стоит! Я хорошо знаю, как горячо любят рабочие поэзию Маяковского, как заучивают наизусть его стихи. Что касается Пастернака, то о нем многие из нас имели до последнего времени самое смутное представление. Теперь он получил широкую известность как Иуда. Пусть растекается этот пре-

датель от злости лужей желчи, пусть лакают из нее господа капиталисты. А мы, советские люди, останемся со своим Маяковским, со своей родной советской литературой.

А. МАМОНТОВ,
рабочий
МОСКВА

То, что сделал Пастернак, — оклеветал народ, среди которого он сам живет, передал свою фальшивку врагам нашим, — мог сделать только откровенный враг. У Пастернака и Живаго — одно и то же лицо. Лицо циника, предателя. Пастернак-Живаго сам навлек на себя гнев и презрение народа.

Каныш САТПАЕВ,
ученый
АЛМА-АТА

Будь Пастернак в эмиграции, на его стихи, на его «Доктора Живаго» обратили бы столько же внимания, сколько обращают на антисоветскую болтовню белоэмигрантов. Белоэмигранты давно уже не делают погоды за рубежом. Лишь только потому, что Пастернак проживает в Советском Союзе, за него ухватилась международная реакция.

А. ЯНУШЕВИЧ,
доктор биологических наук
гор. ФРУНЗЕ

Доктор Живаго — не духовный ли сын Климента Самгина? Горький разоблачил Самгина. Пастернак в Живаго разоблачил сам себя.

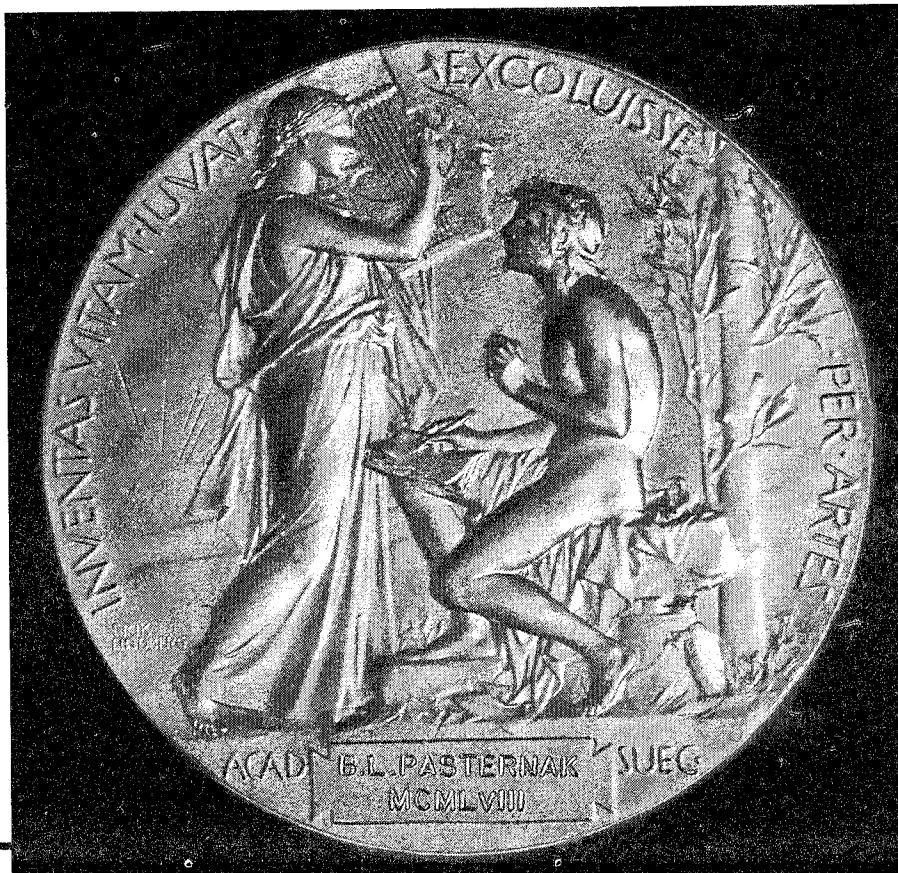
М. ФИЛИПОВИЧ,
геолог
СВЕРДЛОВСК

Конечно, отдельные «доктора Живаго» могли оказаться среди русской интеллигенции — в семье не без урода, гласит народная мудрость. Да и жизнь Пастернака — свидетельство того, что Живаго не умерли еще и сейчас. Но в целом роман Пастернака — это страшная клевета на советскую интеллигенцию, на советский народ.

Т. РОЗИНГ,
преподаватель
пос. СОСЕНСКИЙ
Калужской области

Как смеет Пастернак обливать грязью все, что завоевано кровью и трудом миллионов людей! Как смеет эта озлобленная шавка лаять на святое святых советского народа! Он даже не господин Пастернак, а просто так... пусота и мрак.

В. СИМОНОВ,
пенсционер
ЛЕНИНГРАД



Медаль лауреата Нобелевской премии, присужденной Б. Л. Пастернаку в 1958 году.

Вручена 9 декабря 1989 года в Стокгольме сыну поэта Евгению Борисовичу.

А

23 октября 1958 года официально объявлено о присуждении Пастернаку Нобелевской премии по литературе. И тут же начинается шквал безумия.

Макс Франкел, московский корреспондент газеты «Нью-Йорк таймс», встречается с Пастернаком, когда становится уже совершенно ясно: премию дадут ему. Пастернак говорит о «новой роли, новой тяжелой ответственности». И добавляет: «Я счастлив безмерно, но — поймите! — я тут же окажусь один, эта новая роль — роль одиночки, она мне словно на роду написана».

Потом он принимается описывать бедь, которые уже навалились на него за прошедший год — вслед за публикацией романа «Доктор Живаго» в Италии. Работу ему дают только поляки. А теперь он предвидит новые неприятности, но просит Франкела понять:

«Я отнюдь не жертва несправедливости. Отношение ко мне — дело вполне обычное. При данных обстоятельствах ничего другого и ожидать не приходится» («Нью-Йорк таймс», международный выпуск, 26 октября 1958).

После официального сообщения о премии Пастернак говорит другому корреспонденту: «Для меня это большая радость. Никакого потрясения нет. Я просто очень доволен» («Манчестер гардиан», 25 октября 1958).

Еще одному корреспонденту он говорит:

«Премия меня радует и очень поддерживает морально. Но радуюсь я в полнейшем одиночестве» («Нью-Йорк таймс», международный выпуск, 27 октября 1958).

В это время он, видимо, еще надеется поехать в Стокгольм за премией. И говорит корреспонденту информационного агентства Бритиш юнайтед пресс (БЮП): «Если я в самом деле поеду в Стокгольм, то, по крайней мере, отвлекусь и отдохну за полтора месяца» («Манчестер гардиан», 25 октября 1958).

Первым из крупных советских чиновников на Нобелевскую премию откликается министр культуры Михайлов. Он дает интервью московскому корреспонденту газеты шведских коммунистов.

Роберт
КОНКВЕСТ
Глава
из книги
«ОТВАГА ГЕНИЯ»
Лондон, 1961

Премия

И

ТРАВЛЯ

БЮП приводит следующую цитату: «Выбор лауреата меня удивил. Я знаю, что Пастернак настоящий поэт и превосходный переводчик, но сейчас-то за что ему премию давать? Его лучшие стихи были опубликованы давным-давно» («Дейли телеграф», 24 октября 1958).

Прохладный отзыв, но не резкий; похоже, они еще не решили окончательно: громить или нет. Но 25 октября в «Литературной газете» появляется первая разгромная статья — без подписи. <...>

Несмотря на резкую атаку, Пастернак поначалу, как видно, не чувствует, что за спиной атакующих стоит вся государственная машина. (Вполне вероятно, что Сурков и его печатный орган в самом деле показали пример неповоротливым политическим лидерам.) Утром, в день начала травли, Пастернак отправляет в Шведскую академию вторую — вслед за официальным ответом — телеграмму: «Бесконечно признателен, тронут, горд, удивлен, сконфужен. Пастернак».

А травля — на редкость яростная и грубая — уже началась. 26 октября «Правда», рупор Центрального Комитета партии, находящийся под непосредственным — без промежуточных звеньев — контролем Секретариата, помещает статью «Шумиха реакционной пропаганды вокруг литературного сорняка». Все, о чем писала «Литературная газета», «Правда» заявляет куда грубее и требует, чтобы Пастернак от премии отказался. <...>

27 октября объединенный президиум правления Союза советских писателей исключает Пастернака из Союза писателей. <...> Союзу писателей принадлежит Литфонд, основанный сто лет назад. Он существует на средства издательства и журналов. <...> Из Литфонда Пастернака не исключают.

Но незадолго до этого в «Правде» было напечатано послание Эренбурга и других писателей по поводу писательских пенсий. Там упоминается постановление Совета Министров от 7 августа 1957 года, согласно которому писатели, не являющиеся членами союза, на пенсию рассчитывать не могут.

Есть, таким образом, основания полагать, что Пастернаку создают серьезные финансовые трудности. В интервью для «Афтонбладет» Шолохов утверждает, что исключение из союза не влияет на уровень жизни писателей. Но сам Пастернак говорит, что работа у него есть только благодаря договору с поляками. А позже признается мистеру Алану Морю Уильямсу, гостю из Великобритании, что «несколько обеспокоен» своим материальным положением («Ньюс кроникл», 19 января 1959). Как мы видим, в ход идет все, в том числе экономическое давление или по крайней мере угроза такового, возникшая как результат исключения из союза. Это немаловажно, поскольку позднее Пастернака обвинили в том, что он получает гонорары на Западе.

Французский корреспондент, аккредитованный в Москве, описывает общемосковское собрание писателей (31 октября 1958. — Прим. переводчика). По его данным, присутствовало почти 800 человек и не просто «выступили 14 ораторов» (как явствует из советской прессы), но заседание, по желанию большинства, даже прекратили досрочно, так как длилось оно пять часов. Он описывает яростные нападки на Пастернака С. С. Смирнова — основного докладчика. Смирнов, в частности, припоминает Пастернаку, что в свое время он отказался подписать знаменитое Стокгольмское воззвание, то есть нашу мемуарную воззвание против атомной бомбы времен махровой сталинщины. Далее Смирнов уличает Пастернака в том, что он принимает поздравления от таких личностей, как «фашиствующий писатель Камю», который к тому же, по словам Смирнова, «во Франции очень мало известен» («Монд», 11 декабря 1958). <...>

Как водится, по почину центральной печати появляются многочисленные интервью с представителями рабочих, отчеты о собраниях на заводах и фабриках, выступления провинциальных политических деятелей. Все до единого поддерживают официальную точку зрения. Некоторые из таких публикаций наверняка изумят читателя, не знакомого с советскими реалиями. К примеру, собрание калмыцких писателей осуждает Пастернака за то, что он «абсолютно ничего» не написал о счастливой жизни калмыков. Народ этот реабилитировали только в 1957 году, до этого — в 1943-м — все калмыки были депортированы и вычеркнуты из списка советских народов. Посему вряд ли правдивый роман об их жизни мог поведать о великом счастье.

Романа «Доктор Живаго» никто из годовых советских граждан не читал. 29 октября снова звучат поношения. При большом стечении народа на празднике в честь юбилея комсомола неистовой бранью разражается Семичастный — новый первый секретарь ЦК ВЛКСМ. При сем присутствуют Хрущев и другие руководители партии и правительства. Тут-то впервые и предлагается выдворить Пастернака из Советского Союза.

В тот же день Пастернак посылает в Шведскую академию следующую телеграмму:

«В связи с реакцией советского общества я вынужден отказаться от незаслуженной мною чести.

Прошу простить мой добровольный отказ — Пастернак».

Очевидно, больше всего Пастернака страшит, что его выдворят из России. Первого ноября он, в личном письме, просит Хрущева этого не делать. ТАСС сообщает о письме на следующий день, добавив при этом, что Пастернак может, если желает, покинуть СССР.

В письме Пастернак, в полном соответствии со своими прежними взглядами, говорит, что «политическая кампания», развернувшаяся на Западе, для него — полнейшая неожиданность. <...>

Между тем кампания в прессе не стихает, и 5 ноября «Правда» помещает новое письмо-за подписью Пастернака. Там есть абзац о политическом значении премии. Писатель оспаривает неправомерные трактовки своего романа, но, даже теперь, ни о чем не отрекается. Он даже не сожалеет, что «Доктор Живаго» вызывает на Западе искреннее восхищение. И об этом он не пожалует никогда: в январе 1960 года он скажет миссис Карлайл, что «безмерно счастлив и горд таким вниманием» («Пэрис ревью», № 24, 1960).

Так или иначе, это письмо — явная уступка властям, причем уступает Пастернак гораздо больше, чем в первом письме. Давление на него неизмеримо возрастает. И оно не ограничивается угрозами в его собственный адрес. Позже выяснится, что все это время, до смерти, Пастернака безумно пугают другие угрозы: власти превращают в заложников его ближайшего, дорогого друга Ольгу Ивинскую и ее дочь Ирину, которую Пастернак практически удочерил. <...>

Пастернак пишет другу за границу о «скрытой зависимости, в которой нас постоянно держит секретная полиция», пишет, что «вся семья О., ее сын, дочь, сама она — подобны заложникам». Другому адресату он пишет: «Зловещий ветер всегда дует так, чтоб в первую очередь обрушиться на моего друга О.» («Таймс», 23 января 1961). Окажись Пастернак за границей, они остались бы в руках КГБ.

Самому поэту власти оказывают иные знаки внимания. В это время малейшие изменения распорядка дня вызывают у них расспросы и подозрения. Позже Пастернак описывает обстановку этих дней одному немецкому журналисту: «Возможно, они боялись, что я покончу с собой... дом превратили в настоящую больницу. Приставили ко мне женщину-врача вместо сиделки. Я ей говорю: идите домой, обо мне тревожиться нечего. Но она не уходила, ей приказано было меня не оставлять. Возможно, они боялись, что я покончу с собой» («Ньюсдей», 22 декабря 1958).

Когда позже, в конце 1959 года, у Пастернака начнутся серьезные сердечные недомогания, он никому в России об этом не скажет, боясь опеки врачей.

6 ноября 1958 года корреспондент лондонской газеты «Дейли экспресс» встречается с Пастернаком, но тот говорить отказывается: «Подождите примерно месяц — может, тогда я смогу говорить».

Учредительный съезд Союза писателей РСФСР проходит с 7 по 13 декабря 1958 года. Пастернак снова подвергается нападкам, хотя наиболее достойные писатели на эту тему не высказываются. Сурков называет Пастернака «отщепенцем, которого наш справедливый гнев исторг из дружеской семьи советских писателей», осуждает его «гнилые эмигрантско-обывательские позиции» и «предательский поступок этого литератора». Его также заботит, что исключение Пастернака из союза «дезорientировало некоторых прогрессивных писателей» за границей. А. Тимонен тоже говорит об этом: «Некоторые из

Из книги О. В. Ивинской «В плену времени» известно, что В. Л. Пастернак ни одного из этих писем не писал. Подписав заготовленные тексты, позже он горько сожалел об этом. — Прим. ред.

Премия меня радует и очень поддерживает морально. Но радуюсь я в полнейшем одиночестве.



Плакат А. Вознесенского, выпущенный к 100-летию со дня рождения Б. Л. ПАСТЕРНАКА

наших искренних друзей писателей попадали на удочку этих газет и начинали рассуждать, что литература и политика — это разные вещи». Он приводит в пример писательницу, не назвав ее имени, «которая сама всю войну просидела в тюрьме за свои демократические взгляды и книги» («Стенографический отчет о съезде», Москва, 1959, стр. 278—279).

Особенно интересные речи С. В. Смирнова и А. Коваленкова. Обнаруживается, что в Литературном институте возник «культ Пастернака». Вожак литературной молодежи — девятнадцатилетний поэт Харбаров и Пан-

Он отказывается от любой помощи и похвал зарубежья, которые могли быть расценены как политическая акция, но своих собственных взглядов не меняет.

Несмотря на давление извне, взгляды его остаются прежними, как видно, к примеру, из интервью, которое он дает в начале января:

«Сейчас век технократии. Технократы хотят сделать писателей чем-то вроде источника энергии».

Хотят, чтобы мы выдавали продукцию, а они могли использовать ее на разные социальные нужды, точно это какие-то радиоактивные изотопы.

не этой публикации. «Пастернак поощрил репортера непечатными словами и говорил, что отныне журналистов не принимает: «работать мешают и вреда от них много» («Нью-Йорк геральд трибюн», международный выпуск, 14—15 февраля 1959) <...>

Во всем мире писатели и широкая общественность осуждают действия советских властей.

Группа ведущих английских писателей и публицистов — в том числе Грэм Грин, Дж. Б. Пристли, Бертран Рассел и другие — подписывает решительное обращение к Союзу советских писателей. Они настойчиво просят не считать роман «Доктор Живаго» политическим документом.

Президент и секретарь Международного ПЕН-клуба также посылают телеграмму с требованием «защитить поэта, создать надлежащие условия для свободного литературного творчества». Литературные общества во всем мире, от Мексики до Индии, следуют примеру ПЕН-клуба.

В Калькутте издаются полезная брошюра («Борис Пастернак», ред. К. К. Синха), где собраны высказывания индийских писателей и приведены выдержки из газет. Все авторы единодушно восхищаются Пастернаком и выражают негодование в адрес его гонителей. <...>

Из Югославии пишут следующее:

«В любом случае, сейчас нас не волнуют те внелитературные причины, по которым Шведская академия присудила Нобелевскую премию Пастернаку, а допустим, не Леонову или Шолохову. С ними можно согласиться в одном: благодаря гуманистичности своего творчества Борис Пастернак достоин стоять в первом ряду писателей мира и получить наиболее уважаемую в мире литературную премию».

Я взываю к вам, к вашей совести: спросите себя — к чему эта бесчеловечная охота на ведьм, ведь перед вами достойнейший человек?! Неужели советским людям пристало сегодня искать врагов там, где их нет — в своем собственном доме? Неужели допустимо срывать людей с лица Земли точно грибы? Неужели вы и впрямь рукоплещете? брани, позволяете одной стороне обзывать человека предателем, врагом, паршивой овцой и свиньей лишь потому, что другая сторона его хвалит?» («Видичи», октябрь — ноябрь 1958).

Газета «Манчестер гардиан» отмечает: «Союзу писателей следовало защищать выдающегося творца, а они поступили словно «полиция мыслей»».

Бессмысленно приводить здесь несомненные примеры практически единодушной реакции писателей и прессы во всем мире. Даже некоторые коммунисты выражают впрямую или намеками свое несогласие с действиями советской стороны, хотя для них это не просто оценка некоей книги, а проверка на преданность — и они ее не выдерживают.

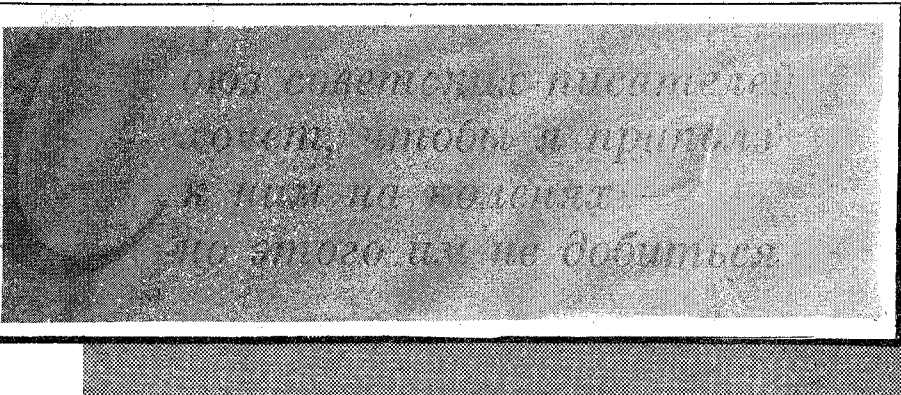
Исландский поэт Халдор Лакснесс — сам лауреат Нобелевской премии и Ленинградской премии Мира, давний поборник идей коммунизма — посылает телеграмму лично Хрущеву, где просит первого секретаря «осадить нетерпимых сектантов в их зловещих нападениях на старого, достойного награды русского поэта Бориса Пастернака». Он пишет, что русские навлекают на свою страну «гнев поэтов, писателей, интеллигенции и социалистов всего мира». <...>

Бразильский романист Жоржи Амаду, глава прокоммунистически настроенных бразильских литераторов, поздравляет Пастернака и, осудив Союз писателей, замечает, что в этой организации, как видно, запровадены сектанты и догматики — как и в прежние, сталинские времена («Ульима ора», 30 октября 1958).

Печатный орган Австрийской компартии считает требование Союза писателей о лишении Пастернака советского гражданства «безусловным пережестом, идущим вразрез с линией партии и государственности» («Фольксштимме», 4 ноября 1958).

В этих кругах протест или даже намек на протест против кампании, развернутой советскими властями, — поступок крайне неосмотрительный. Но приведем в заключение еще одно веское и весьма вольнодумное суждение. 7 ноября 1958 года на пресс-конференции в Нью-Дели премьер-министр Индии господин Неру говорит, что отношение к Пастернаку в России «нас немало огорчает, так как мы к подобным вопросам подходим совершенно иначе. Знаменитый писатель, по нашему мнению, должен быть уважаем, а его точка зрения должна быть предоставлена полная свобода, пусть даже она идет вразрез с общепринятой».

Перевод Ольги ВАРШАВЕР



кратов «повесили в общежитии портрет своего кумира», «тайно посещали» его, раздобыли рукопись романа «Доктор Живаго» и «познакомили с этим произведением своих товарищей». В результате их исключили из комсомола и отправили в Казахстан, но они вернулись и «опять воровато побежали на дачу Пастернака». Александр Жаров тоже упоминает упаднические настроения в Литературном институте, а точнее — молодого поэта, который под влиянием Пастернака «научился писать такие стихи, за которые его хотели исключить, — и не без оснований»; впрочем, на сей раз они смягчились и исключать не стали.

Самый ожесточенный, неприкрытый период травли постепенно сходит на нет. О выдворении из страны речь больше не заходит, Союз писателей продолжает медленно и тупо давить, а Пастернак — упорно сопротивляться.

На мой взгляд, писатель, художник так делать не может. У него иное предназначение. Он скорее должен аккумулялировать энергию».

Писатель — это Фауст современного общества, единственный оставшийся в живых индивидуалист в век коллективизма. И ортодоксальные современники считают его полусумасшедшим.

Союз советских писателей хочет, чтобы я приполз к ним на коленях — но этого им не добиться» (из интервью, данного Алану Морзю Уильямсу, «Ньюс кроникл», 19 января 1959).

11 февраля газета «Дейли мейл» помещает стихотворение Пастернака «Нобелевская премия», написанное в самый разгар травли, в конце октября. Через несколько дней Пастернак дает интервью корреспонденту ЮПИ, где заявляет, что стихотворение опубликовано без его разрешения — он даже подписывает официальное опроверже-

«Доктор»

В ПАРИЖЕ

У Жаклин де Пруайяр, профессора университета Бордо, редкая коллекция зарубежных изданий «Доктора Живаго»: вот первое из них — голландское — «пиратское», тираж — 500 экземпляров; вот итальянское, миланское, а это — американское...

«Искренние соболезнования вам и вашему мужу по поводу тяжелой потери единственного правильного текста у Жаклин 1957. Чувствую себя хорошо, мало работаю период неопределенности любовь нежность, Пастернак».

— Эту полузашифрованную телеграмму Борис Леонидович прислал мне в Париж, и я от его имени обратилась к миланскому издателю Фельтринелли с настоятельной просьбой откорректировать рукопись «Доктора Живаго» согласно желаниям автора. — рассказывает профессор де Пруайяр. — Фельтринелли сопротивлялся. А Пастернак в своих телеграммах и открытках упорно повторял: проверьте «итальянскую» рукопись, новое издание — только «с вашего благословения!». Подумать только: не хватало целых 12 страниц! Позднее я поняла: Фельтринелли сопротивлялся правке, боясь удорожить издательский процесс. А мой экземпляр рукописи только раздражал его.

— Вот она... — мадам де Пруайяр гладит два грубо переплетенных томтика, от которых, кажется, и по сей день пахнет вездливим московским казенным. Рукопись лежит среди шелестящих кип папиросной бумаги. Пожелтевшие реликвии эпохи самиздата связанной и с именем Бориса Пастернака!

— В начале 50-х годов я училась в Соединенных Штатах, где моим научным руководителем при подготовке диссертации был Роман Осипович Якобсон. Этот блестящий лингвист и литературовед хорошо знал Бориса Леонидовича. Именно он открыл мне творческое величие Пастернака. Так мне повезло в первый раз.

Во второй раз, считает Жаклин де Пруайяр, ей повезло, когда она встретилась с Б. Л. Пастернаком.

— В 1956 году с группой молодых французских ученых я должна была ехать в МГУ для углубления знания русского языка. Виза была получена

мною на следующий день после вступления советских танков в Будапешт. Родные разволновались: «Может, лучше не ездить?» Но моя мать твердо сказала: «Ехать надо. Что бы ни происходило, Россия все равно останется Россией!»

— В общежитии МГУ все зачитывались Пастернаком — вспоминает мадам де Пруайяр. — Перепечатанные на машинке стихи передавали из рук в руки, тайком читали и «Доктора Живаго». Но чтение «из-под полы» для меня, француженки, было недопустимо. А как хотелось прочесть роман!.. Однажды совершенно случайно я забрела в музей Скрябина. Там меня очень тепло приняли, напоили чаем, познакомили с интересными людьми. Короче, я стала частенько заглядывать в музей и мало-помалу сделалась там своей. Однажды мне дали почитать вот эти стихи Пастернака, совсем «свежие» по тем временам.

Жаклин берет со стола листки, на которых можно разобрать растражированное под копирку:

*Во всем мне хочется дойти до самой сути,
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.*

— Узнаете? «Когда разгуляется». А эпиграф? «Книга — это большое кладбище, где на многих плитах нельзя уже прочесть стертые имена». Марсель Пруст. И написано по-французски! Борис Леонидович хорошо говорил и писал по-французски. Но

часто посмеивался над собой: «Мой смешной и дикий французский». — писал он мне... Тогда, в музее, я прямо застонала, прочтя эти стихи: «Познакомьте меня с Пастернаком! Ради Бога, познакомьте!..» Мои новые друзья только улыбались в ответ. Время шло, и все призрачное делалось моей надеждой увидеть создателя «Доктора Живаго». Неожиданно 1 января 1957 года мне сказали: «Сегодня вечером мы встретимся с Пастернаком».

На всю жизнь запомнила я этот день в Переделькине. Домики, улочки в сугробах. Пастернак принял нас в большой комнате, один. Открытый дом, открытый человек! Разговор зашел о литературе. Помню, Борис Леонидович говорил о Блоке, Белом... Потом перешел к Фету. Неожиданно обернулся и сказал, глядя прямо на меня: «А чье еще влияние, на ваш взгляд, я испытывал?» Все замерли. Я растерялась, потом рискнула: «Чехова». Оказывается, попала в точку. Пастернак признался, что, когда работал над «Доктором Живаго», перечитал всего Чехова. «Да, Юрий Живаго — духовный сын чеховских интеллигентов», — сказал тогда Борис Леонидович.

— А я «Доктора Живаго» так и не прочла. Не достать вашего романа. Слишком очередь за ним длинная. А мне скоро во Францию уезжать.

Борис Леонидович повернулся к сыну:

— Зайди к Симонову и возьми у него рукопись. Она ему больше не нужна...

Через несколько дней я опять приехала в Переделькино. Пастернак дал мне «Доктора Живаго». Первую книгу я прочла залпом, за ночь. Вторую же «оплетку» взяла с собой в поездку в Новгород. Но зима в Новгороде была беспощадной. Все время носить с собой сумку я не могла. Руки замерзали. Оставила на пару часов рукопись в чемодане и... прокляла весь белый свет. Пока я осматривала город, мои вещи в гостинице переворачивали! Впрочем, ничего не пропало. К счастью, и с «Доктором Живаго» ничего не случилось: литература, по-видимому, не очень-то интересовала новгородских ищеек. Самиздат сошел за самодеятельное учебное пособие. Рукопись, которую Пастернак вручил мне в Переделькине, удалось переправить в Париж. Когда французское издание вышло, по тем временам оно стало самым точным из вариантов «Доктора Живаго». Это признал и сам Пастернак.

— И вы больше не видели Бориса Леонидовича?

— Нет, конечно. Ведь он был «невыездной». Так, кажется, по-русски?

— Но вы же могли приехать в Советский Союз?

— Ну что вы! У меня и в мыслях не было просить советской визы. Сразу после выхода в свет «Доктора Живаго» в Париже друзья из МИД Франции дали мне понять, что теперь и должна буду заниматься русской литературой где угодно, но не на территории Советского Союза... Только в 1979 году после упорной визовой борьбы я уже в качестве президента Ассоциации преподавателей русского языка во Франции, смогла приехать в СССР. Побывала тогда и в Переделькине. На могиле Бориса Леонидовича. О многом вспоминалось с болью и горечью. И о нашей переписке, которая продолжалась до самой смерти Пастернака, и о том, что, когда мы прощались в 1957 году, оба знали: никогда больше не встретимся.

К. ПРИВАЛОВ,
соб. корр. «ЛГ»

ПАРИЖ

Переделкино

2 ИЮНЯ 1960 года



АВГУСТ

Как обещало, не обманывая,
Проникло солнце утром рано
Косою полосой шафрановою
От занавеси до дивана.

Оно покрыло жаркой охрой
Соседний лес, дома поселка.
Мою постель, подушку мокрую
И край стены за книжной полкой.

Я вспомнил, по какому поводу
Слегка увлажнена подушка.
Мне снилось, что ко мне на провода
Шли по лесу вы друг за дружкой.

Вы шли толпою, врозь и парами.
Вдруг кто-то вспомнил, что сегодня
Шестое августа по старому.
Преображение Господне.

Обыкновенно свет без пламени
Исходит в этот день с Фавора.
И осень, ясная как знаменье,
К себе приковывает взоры.

И вы прошли сквозь мелкий, нищенский,
Сквозной, трепещущий ольшаник
В имбирно-красный лес кладбищенский,
Горевший, как печатный пряник.

С притихшими его вершинами
Соседействовало небо важно,
И голосами петушиными
Переключалась даль протяжно.

В лесу казенной землемершею
Стояла смерть среди погоста,
Смотря в лицо мое умершее,
Чтоб вырыть яму мне по росту.

Был всеми ошутим физически
Спокойный голос чей-то рядом.
То прежний голос мой провидческий
Звучал, нетронутый распадом:

«Прощай, лазурь преображенская
И золото второго Спаса.
Смягчи последней лаской женскою
Мне горечь рокового часа.

Прощайте, годы безвременщины!
Простимся, бездне унижений
Бросающая вызов женщина!
Я — поле твоего сраженья.

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство».

1953



Андрей
ВОЗНЕСЕНСКИЙ

КРОНЫ И КОРНИ

Несли не хоронить,
несли короновать.

Седее, чем гранит,
как бронза — красноват,
дымься локомотивом,
художник жил, лохмат,
ему лопаты были
божественней лампад!

Его сирень томилась...
Как звездопад,
в поту,
его спина дымилась
буханкой на поду!..

Зияет дом его.
Пустые этажи.
На даче никого.
В России — ни души.

Художники уходят
без шапок,
будто в храм,
в гудящие уголья
к березам и дубам.

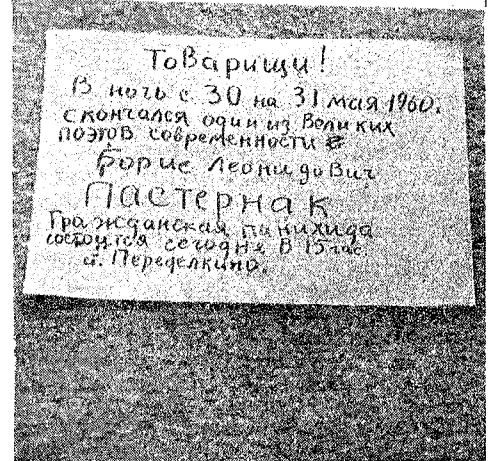
Побеги их — победы.
Уход их — как восход
от полянам и планетам
от ложных позолот.

Леса роняют кроны.
Но мощно под землей
ворочаются корни
корявой пятерней.

1960 г.



● У гроба. Зинаида Николаевна с сыном Леонидом.
● Объявление, вывешенное в день похорон на Киевском вокзале.



Евг. ЕВТУШЕНКО

ОГРАДА

Могила, ты ограблена оградой.
Ограда, отделила ты его
от грома грузовых, от груш,
от града
агатových смородин.
От всего,

что в нем переливалось,
мчалось, билось,
как искры из-под бешеных копыт.
Все это было буйный быт —
не бытность.
И битвы — это тоже было быт.

Был хряск рессор
и взрывы конских храпов,
покой прудов и сталкиванье льдов,
азарт базаров
и сохранность храмов,
прибой садов и груды городов.

Подарок —
делать созданный подарки,
камнями и корягами покорен,
он, словно странник,
проходил по давке
из-за кормов и крошечных корон.

Он шел, другим оставив суетиться.
Крепка была походка и легка
серебряноголового артиста
со смуглыми щеками моряка.

Пушкинианец, вольно и велико
он и у тяжких горестей в кольце
был как большая детская улыбка
у мученика века на лице.

И знаю я — та тихая могила
не пристань
для печальных чьих-то лиц.
Она навек неистово мажигна
для мальчишек, цветов,
семян и птиц.

Могила, ты ограблена оградой,
но видел я в осенней тишине:
там две сосны растут,
как сестры, рядом —
одна в ограде и другая вне.

И непреоборимыми рывками,
ограду обвиняя в воровстве,
та, что в ограде, тянется руками
к не огражденной от людей сестре.

Не помешать ей никакой рубкой!
Обрубят ветви — отрастут опять.
И кажется мне — это его руки
людей и сосны тянутся обнять.

Всех тех, кто жил, как он,
другим наградой, —
от горестей земных, земных отград
не отгородишь никакой оградой.
На свете нет еще таких отград.

1960 г.

В. Ф. АСМУС РЕЧЬ НА ПОХОРОНАХ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

От нас ушел Б. Л. Пастернак, один из крупнейших писателей русских. Его отличие огромное поэтическое дарование, мастерство русской поэтической речи, редкая не только по широте охвата, но и по точности, по принципиальности художественная восприимчивость ко всем видам искусства: к музыке, скульптуре, живописи, искусству сцены. Большим писателем его делала не только эта одаренность. Большим писателем его делало стремление и умение говорить на языке своего искусства о том, что он считал самым важным для человека и для художника: он требовал и от самого себя, и от товарищей по искусству, чтобы искусство было не забавой, не наслаждением, не оттачиванием мастерства ради мастерства, а уяснением — себе и через свое искусство — другим людям открывающегося писателю особого понимания явления жизни.

Свое дарование и мастерство он с непреклонной волей подчинил этой задаче. Он не требовал от других ничего, чего он не требовал для самого себя. Но те, кто не предъявлял искусству столь высоких требований, становились ему безразличны. Это было не высокомерие и надменность поэтического корифея, а убеждение в том, что поистине одарить людей может только художник, которому есть что сказать о жизни и который может это сказать, не повторяя чужие, пусть даже истинные, слова, а говоря словами, родившимися из борьбы с трудностями, из работы, из горения собственного ума и сердца.

Эта черта ставит Пастернака рядом с самыми значительными русскими писателями, с такими, как Лермонтов, Достоевский, Лев Толстой. Это вовсе не значит, будто все, что думал Б. Л. Пастернак о жизни, об истории, о путях искусства, было свободно от заблуждений. Писателей, вещающих одну лишь истину и свободных от ошибок, не бы-

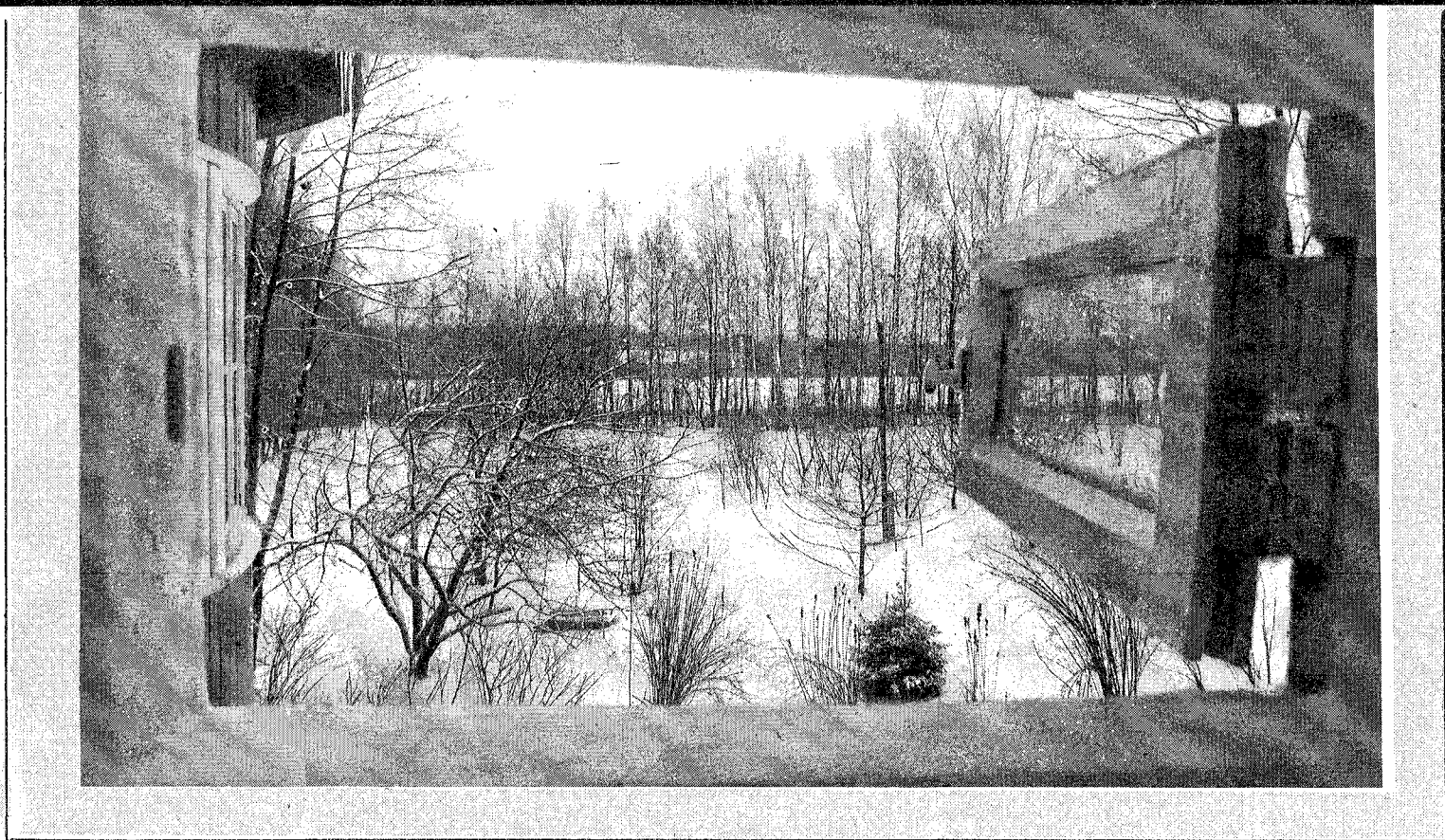
вает. Пастернак спорил с современностью. Однако его спор с современностью никогда не был спором озлобленного консерватора. Это был, конечно, не спор с нашей властью и даже не спор со всей нашей эпохой. Это был спор с целой чередой эпох, люди которых и деятели которых полагали, будто к лучшему будущему человечество может прийти только через борьбу и насилие. Пастернак не мог принять эту мысль. Он стал в ряду писателей-утопистов, отрицателей насилия, какими был, например, Лев Толстой. Можно считать эту мысль глубоко ошибочной, но это было заблуждение человека, в котором билось огромное горячее сердце, который действительно любил страдающее человечество и который — на беду свою — не мог понять, как из обострения борьбы, из моря крови, из нравственного одиночества, огрубления и отупления, которыми до сих пор сопровождались великие исторические перевороты, может родиться гармоническое, преодолевающее противоречия, высшее состояние человеческой нравственности и высшее цветение культуры.

За три дня до смерти он говорил, что его призвание — бороться с пошлостью мировой литературы. Он ненавидел всякую пошлость в искусстве, всякую бездумную и бездушную подделку под здумчивость и задумчивость, всякое самодовольство им о чем всерьез не задумывающихся, ничем никогда не рискующих литераторов.

Он был демократ в лучшем смысле слова. Он любил и уважал людей труда: крестьянского, ремесленного, интеллигентного. Он не выносил ни в ком и никому не прощал праздности, облегченного понимания задач искусства, отступления перед возникающими трудностями, бегства от искусства на уже проложенные, искоженные, но именно потому заводящие в тупик пути. И они его любили, все, без исключения, все, кто встречался с ним в поле зрения его быта и жизни.

Он любил свою родину — ее природу, ее великую духовную культуру, ее больших людей: художников, писателей, музыкантов. В автобиографических сочинениях он написал — как всегда просто, скупое, целеустремленно — немногие по числу страницы о Льве Толстом, о Скрябине, о Блоке. Не скоро появятся образы этих художников, равные пастернаковским по способности запечатления.

Это понимание и это видение должны были ранить, порождать ощущение какого-то несоответствия, неблагополучия в том, что так близко касалось не только его лично, но — через него — искусство. Тем удивительнее мужество, скромность, достоинство, терпение, с каким он встретил и перенес свою нелегкую судьбу в литературе. Он не навязывая себя современности, не спорил с нею, так как уважал ее и твердо знал, что придет время, когда современность к нему вновь обратится. Это время не за горами.



ДОМ ПОЭТА

«...Ты — пригород, а не припев» — это пастернаковское определение поэзии невольно вспоминается, когда думаешь о подмосковном поселке, где жил поэт, — о пастернаковском Переделкине.

Когда мы получили право так называть эту подмосковную местность? Наверно, в те часы и минуты, когда огромная толпа провожала поэта в последний путь. Все, кто был там тогда, запомнили, что в эти прощальные минуты над соснами, осенявшими свежую могилу, высоко в небе прощертил светлую полосу самолет. Дело обычное в переделкинском небе... Но минуты были особые. В эти минуты мы ощутили, что поэт уже во всем пространстве и что эту местность он дарит нам в вечную память. С тех минут Переделкино всегда дышит Пастернаком.

Переделкино — еще одно произведение Пастернака, но такое, в которое вмещается вся судьба, все произведения, весь Пастернак. Это загадочно и непостижимо и вместе с тем так просто и очевидно. Достаточно побывать в Переделкине — и достаточно раскрыть Пастернака. Переделкино Пастернака, быть может, и есть та превыше всех Альп высота, за которой нужно только нагнуться к траве.

Пастернак избрал Переделкино финалом, всей судьбы или же Переделкино — это финал поэта. Может быть, это было решено в судьбе местности, как и в судьбе Пастернака, и они встретились, они слились. Переделкино — итог, венец, венки. И воплощение — навеки.

Пастернак писал о Переделкине:

можно сказать — «воспел». Но тут иначе: вписался. Но и это неточно: он там был всегда. Есть такое понятие — гений места. Гений места избрал поэт, в поэте заговорил гений места, гений Переделкина, гений дачного пригорода — в старом смысле: дух, покровитель, божество. Но что же гениального в Переделкине?

Переделкино — место жизни поэтов, но поэзии ли? Ведь в нашем воображении, мысленно, в традиции, поэты — отшельники. «Дача» — понятие непоэтическое (синоним пошлости у Блока и Бекетовых, ибо Шахматово — сельцо, деревня, не дача). И сегодня у тех писателей, кто живет в Переделкине, по большей части отчужденное отношение к этому месту; оно не входит в образ поэта, писателя, в легенду. Пастернак обернулся лицом к этой дачной местности, он сам стал лицом этой местности, они жили заодно, учились друг у друга: «И окунуться в неизвестность, и прятать в ней свои шаги, как прячет в тумане местность, Когда в ней не видать ни зги». Дачное — что-то временное, непостоянное, без корней. А он открыл здесь вечное, бессмертное, но другое, не олимпийское. «И вот, бессмертные на время, Мы к лицу сосен причтены...» Бессмертное Переделкино, он открыл тебя. И ты хранишь Пастернака, тайну пастернаковской простоты, впрочем, такую, казалось бы, очевидную.

Дачная природа символизирует ныне всю природу, природу на грани исчезновения. И поэзия — на той же драматической грани. Так ведь и бывает всегда. Тут человек расположился, свил гнездо, обжил, спел песню; тут и птица, и самолет в небе. И эти огоньки, летящие меж звездами, напомнили о бессонной работе всех тружеников, о том, что каждый летчик и кочегар — художники и художник исполняет свой долг, «как летчик, как звезда». И эта ночь над пригородом взывает: «Не спи, не спи, художник, Не предавайся сну. Ты — вечности заложник. У времени в плену». И это тоже Переделкино, «рабочий кабинет» поэта — от земли до неба.

Поэт вошел в диалог с небом и землей; он вошел в драму местности, в ее игру. Поэт взял себе в пример артистизм природы, ведя свою

жизненную роль с той же естественностью и самоотдачей — «как играют овраги, как играет река». И поэт вписал свой сюжет, свою драму в эту местность, в эту природу на обочине, так что драма поэта вписалась в поселок, стала пейзажем, и этот пристанционный пейзаж уже иначе себе не представляешь. Пастернак, ничего не меняя, словно бы переписал местность, положил ее на музыку, а быть может, расслышал и разглядел гения здешней природы.

Пастернак породнился с Переделкином. «Сестра моя — жизнь» — можно сказать о близости поэта и места (это напоминает известные стихи Франциска Ассизского).

Ведь все буквально сознают присутствие Пастернака в атмосфере Переделкина. Поэт стал народной легендой, притчей, частью массового переживания и будничного обихода. И все произошло словно бы в награду за то, что поэт нашел и обрел величие там, где никто не видел и не искал ничего, скользая глазами мимо заборов, дач, платформ, сосен. Может быть, он-то и разглядел в этой подмосковной обыденности красоту дорожной толпы «на ранних поездах», отблеск некрасовско-блоковского и еще толстовского госкованья — «за промчавшейся тройкой вослед», ответ тех «жадных взоров», тех родных крестьянско-городских лиц, что рисовал отец поэта. На этой грани между городом и посадом, в вагоне пригородного поезда, поглощаемого Москвой, в самый канун войны поэт видит лицо народа и лицо Родины.

Поразительно, что в эти годы Пастернак увидел народ в ореоле красоты и достоинства. Поэт создает идеальный портрет, он видит глазами

любви и преклонения: «Превозмогая обожанье, Я наблюдал, боготворя». Сколько довелось претерпеть людям, а поэт видит духовными очами: «В них не было следов холопства, Которые кладет нужда, И новости и неудобства Они несли как господя». Это было написано в канун 22 июня 41-го: «Сквозь прошлого перипетии И годы войн и нищеты Я молча узнавал России Неповторимые черты». И это тоже пастернаковское Переделкино. На грани между пригородом и столицей вдруг вспыхнула внутренняя красота этой толпы, засияла душа народа. И впрямь — «На тебя заглядеться не диво...»

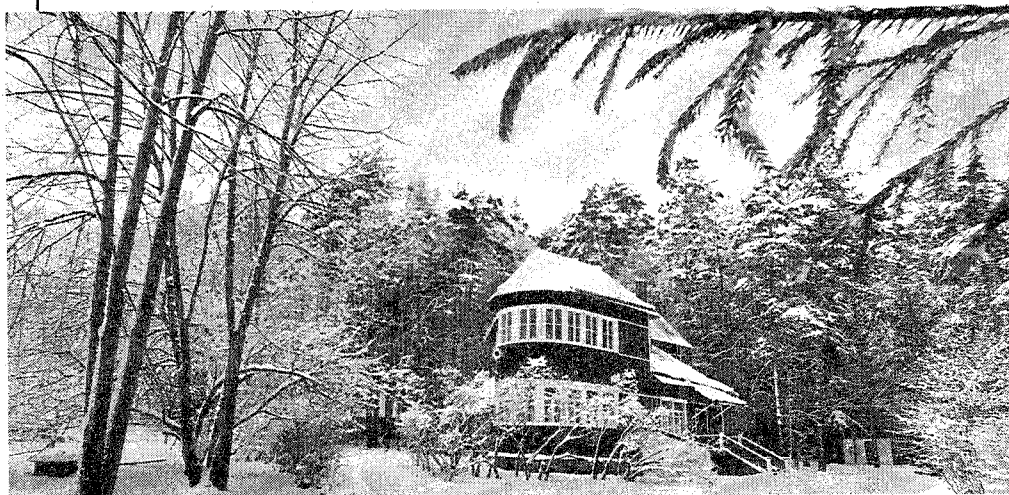
В конце концов поэт вложил себя в эту местность, вложил буквально, лег в нее, стал ею (говоря ахматовскими строками). И это тоже так должно было быть: он сделал домом всю местность. И кажется, всегда была эта линия, эта нить, эта перспектива: дом, могила, церковь. И все молча сознают, идя с поезда или шагая на станцию, что эта могила — сердце местности, «животворящая святыня». Но и она под сенью неба, под сенью храма.

Даже и Нобелевская премия, и вся драма, с нею сопряженная, это, как ни удивительно, опять-таки наше Переделкино. И этот прекрасный роман, старомодный и необычайный, это тоже Переделкино. Как и мысль о чаше, которую надо испить, и о кресте, который надо принять, чтобы войти в бессмертие. Все это спрятано, растворено и явлено в Переделкине. Разве в конце концов непритязательная местность не спасла поэта? На наших глазах поэт ушел под сень сосен, под сень храма, оставив вражду за чертой своего дома.

Переделкино стиснуто Москвой, но Пастернак успел спеть песню, которая и сегодня хранит Переделкино. Уже после смерти поэта его пытались изгнать из своего дома, но можно вынести вещи, а дух дышит, где хочет. Все бывает, как повелит гений места.

Так навсегда слились поэт и его земля. «...И благовест ближнего храма, И говор народа, и стук колеса». Жизнь... Дом поэта.

Станислав ЛЕСНЕВСКИЙ



А



П **ВЕК** Пастернака

*О, знал бы я, что так бывает,
Когда пускался на дебют,
Что строчки с кровью — убивают,
Нахлынут горлом и убьют!*

*От шуток с этой подоплекой
Я б отказался наотрез.
Начало было так далеко,
Так робок первый интерес.*

*Но старость — это Рим, который
Взамен турусов и колес
Не читки требует с актера,
А полной гибели всерьез.*

*Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.*



АССЕ

Цена 50 коп.

Ответственный за выпуск С. СЕЛИВАНОВА.
Оформление Н. НОВИКОВА.
Над выпуском работали сотрудники «Литературной газеты»
А. АВОЕВ, Ю. ВАНЮШЕВ, В. ЖУКОВА, А. ЗОТИКОВ, С. ОЛЮНИН,
В. РАДЗИШЕВСКИЙ, И. РИШИНА, Б. ФУРОВ, А. ХЕМЛИН.
Редакция «Литературной газеты» благодарит за помощь в

работе членов юбилейной Пастернаковской комиссии А. ВОЗНЕСЕНСКОГО, С. ЛЕСНЕВСКОГО, Т. ЛУКОВНИКОВУ, В. САВЕЛЬЕВА
В выпуске использованы фотографии В. БОГДАНОВА, А. КАРЗАНОВА, а также фотографии из архивов Е. В. ПАСТЕРНАК и Е. Б. ПАСТЕРНАКА; Н. А. ПАСТЕРНАК, М. И. ФЕЙНБЕРГ.